

ПЕТРУ ВИНТИЛЭ ОКРУЖЕННЫЙ ГОРОД





**Военное
издательство
Министерства
обороны
СССР**





ПЕТРУ ВИНТИЛЭ.
ОКРУЖЕННЫЙ ГОРОД

РОМАН

Военное
издательство
Министерства
обороны СССР
Москва · 1967

H (Pym.)
B50

Petru Vintilă

ORAȘUL ÎNCERCUIT



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Судьба некоторых городов, как и некоторых людей, отмечена печатью трагического героизма. После долгого, незаметного существования они вдруг оказываются окруженными ореолом. И люди по праву спрашивают себя: где же эти

города были и как они жили до сих пор? Названий этих городов до этого нельзя было найти в самых толстых энциклопедиях, в которых, однако, нашлось место для самых мелких насекомых. Такими были Ваграм, Эйлау и Верден.

Во всех этих местечках как раз в те дни, когда их названия кровавыми буквами были занесены в книгу истории, были солдаты родом из скромного городка Н. Само собой разумеется, в государственных и военных архивах этот факт не нашел отражения.

Неписаная история сохранила эпизод, имевший место под Эйлау сразу же после окончания битвы. Бонапарт верхом объезжал поле битвы в сопровождении принцев, маршалов и генералов. На поле брани лежали десятки тысяч убитых и раненых. В невообразимом беспорядке были разбросаны орудия и зарядные ящики, тысячи повозок с провiantом и боеприпасами. Бонапарт воскликнул: «Если бы у меня было только пять таких же храбрых полков, как этот иллирийско-банатский полк, я бы за один год завоевал весь мир». Бонапарт не знал, что в своем большинстве солдаты этого полка были родом из безызвестного городка Н. и окружающих его сел. Солдаты из этого глухого провинциального городка гнили в землях Галиции и Тироля, Богемии и Далмации, по обочинам всех дорог Европы — одним словом, везде, где императоры и эрцгерцоги из Шенбрунна демонстрировали свою военную немощь, свою безграничную гордыню, и в первую очередь жадность, характеризующую профессиональных завоевателей и грабителей. Солдаты погибали сотнями и тысячами на полях великих битв последних двух-трех веков, но их городку ни на йоту не прибавилось ни славы, ни благосостояния. Городок продолжал оставаться таким же провинциальным и, как и прежде, не фигурировал ни в ежегодниках, ни в хрониках, ни в энциклопедиях. Мало кто слышал о нем. Вначале городок был всего-навсего селом с двумя сотнями домов и чем-то очень напоминал курортное местечко. Может быть, именно поэтому долгое время он казался тихим, особенно тем, кто в своей жизни много путешествовал и у кого из-за вечной спешки и скуки притупилась наблюдательность. Путешественники такого рода привыкли видеть лишь внешнюю сторону явлений. Суть же их передко оказывается другой. Мало кто мог дать оцен-

ку кипам дел, которые были составлены в связи с выплатой пенсий инвалидам, родителям, вдовам и детям погибших на войне и которые ждали соответствующих решений в канцеляриях и архивах городской префектуры. Количество этих дел каждого убеждало в том, что город заплатил дорогую цену далеким фронтам. Костыли, деревянные вместо ног, пустые, болтающиеся рукава, шрамы на лицах говорили, что война постаралась и здесь оставить глубокие следы. Существовали и другие грустные детали, подтверждавшие, какой тяжелой жизнью жил город в годы второй мировой войны. Эти детали резко контрастировали со спокойной красотой города, расположенного вдоль зеленой долины, поросшей липами, сиренью, шелковицами, грецким орехом, яблонами и каштанами.

2

Большая часть домов городка была построена итальянскими мастерами, приехавшими сюда в конце XVIII века на горные и лесные разработки, которые принадлежали Стегу, одному из крупнейших промышленных концернов в бывшей Габсбургской монархии. После 1918 года этот промышленный колосс стал называться УДР (то есть заводы и владения Решица). Ему принадлежали рудники в Домане, Секуле и Анине, металлургические заводы в Решице, Нэграде, Фердинанде и Бокше, леса Карашула и виноградники в Штейердорфе. Даже воды Бырзавы, как и железные дороги, шоссе и десятки квадратных километров пахотной земли в бывших уездах Караш, Тимиш-Торонтал и Северян, были собственностью этого гиганта.

Городок находится почти на границе с Югославией, и с окружающих его высот можно видеть старинную башню Врсака и сторожевую башню села Делиблата. На пограничных пикетах уже несколько лет стояли не боснийские и сербские солдаты, а отряды немецкой военной жандармерии. По эту сторону границы расположились румынские пограничные посты, однако немецкие машины и курьеры курсировали в обоих направлениях без ограничений. Румынские пограничники не имели возможности бороться даже с контрабандистами; так, им не было дозволено задерживать военнотружущих гитлеровской

армии и проверять их багаж. Заносчивые, самовлюбленные, с презрением смотрящие на все ненемецкое, служаки вермахта вели себя как полновластные хозяева. В начале 1940 года и в 1941 году в городке Н. по сравнению с другими населенными пунктами было мало гитлеровцев. В городке останавливались отдохнуть или восстановить силы только отдельные команды и группы между пересадками или маршами. И все эти «путешественники» в зеленовато-серой форме, вооруженные до зубов, с удивлением находили, что городок похож на Вену. Они даже называли его «паша маленькая Вена» и, прибыв в Н., вели себя как теноры и баритоны на сцене какого-нибудь городского театра в Германии. Войдя в «Касина ромынэ» или в «Золотой петушок», гитлеровские вояки приветствовали посетителей с преувеличенной вежливостью. Пили черное, как тушь, пиво «Дрехер» и заказывали оркестру только вальсы, липиды и очень модную в то время песню «Лили Марлен».

Постепенно, месяц за месяцем, город приобрел вид военного лагеря. Здесь был организован перевалочный пункт, включающий несколько складов провианта и обмундирования. В городе все сильнее стала чувствоваться нужда. Она напоминала о себе бесконечно длинными очередями перед булочными, продовольственными магазинами, у городских боев. На стенах примарии¹ стали вывешивать длинные списки убитых, раненых и пропавших без вести, а также распоряжения властей, касающиеся маскировки, уменьшения нормы выдачи продуктов и одежды и усиления борьбы против подрывных элементов (так власти называли коммунистов). Запрещалось ходить по городу в ночное время, собираться группами более трех человек и выезжать в другие населенные пункты без разрешения полицейского комиссариата. На улицах города стали появляться румынские и немецкие военные патрули. Полицейские облавы стали обычным делом. Зачастую полицейские окружали и обыскивали целые кварталы.

Начиная с весны 1944 года город ничем существенно не отличался от населенных пунктов, расположенных в прифронтовой полосе.

Правда, весной 1944 года сады в городе расцвели, как

¹ П р и м а р и я — городская и сельская управа.

и обычно, повторяя первозданное чудодейственное обновление земли. Красные черепичные крыши домов были едва заметны среди молодой листвы яблонь, пахучих абрикосов, черешен, груш и сирени. Роскошь цветов и запахов будто хотела показать с присущей природе простотой, что и в эти тяжелые времена она не лишилась своих неиссякаемых сил. И все же периферийному городку суждено было принять непосредственное участие в диком и кровавом хороводе войны. Некоторые явные признаки свидетельствовали об этом драматическом вступлении в сферу схваток со смертью. Первым признаком было прибытие в город и его окрестности нескольких десятков тысяч жителей из Молдовы, эвакуированных сюда вместе с учреждениями и предприятиями, на которых они работали: Яским университетом, фабрикой военного обмундирования из Романа, походным хлебозаводом, выпускающим знаменитые армейские галеты, из Бырлада, консервным заводом из Бакэу, производящим консервы для армии, а также несколькими центральными учреждениями из Бухареста и какими-то складами. Город вдруг стал перенаселенным, и поэтому нищета приняла чудовищные формы. Наскоро разбили палатки, выстроили бараки, в которых разместились буквально друг на друге тысячи семей, а также эвакуированные заводы и фабрики, склады продовольствия и обмундирования, прибывшие из Молдовы архивы. В результате город стал походить на военный лагерь. А потом в дополнение ко всему в Н. прибыл из Ясс военный госпиталь, будто без него в городе было мало людей.

Странное дело. Иногда события, на первый взгляд не имеющие ничего общего, оказываются тесно связанными друг с другом. По заранее разработанному плану военный госпиталь предполагалось эвакуировать в Сибиу. Но после весьма драматического путешествия он прибыл не в Сибиу, а в неизвестный городок на юго-западной окраине страны, и судьба эшелона и прибывших с ним отныне оказалась связанной с судьбой этого городка. Во время эвакуации из прифронтовой зоны эшелону, в который был погружен госпиталь со всем своим имуществом: одеялами, матрацами, тумбочками, операционными столами, медицинской аппаратурой, с несколькими сотнями раненых, медсестрами, фельдшерами и хирургами, — довелось еще раз встретиться лицом к лицу с войной. Находясь на од-

ном из многочисленных запасных путей Северного вокзала в Бухаресте, между вокзалом и мастерскими, на так называемом формировании, этот состав из сорока двух вагонов 4 апреля 1944 года попал под воздушную бомбардировку. Половина вагонов была разбита, добрая половина раненых, вторично пронзенных осколками, погибла. Находившиеся здесь же сестры, фельдшера и врачи были бессильны остановить этот рецидив смерти. На скорую руку подремонтированный, беспорядочно нагруженный всем тем, что еще осталось живого и невредимого после воздушной атаки, поезд отправился на запад и через восемь или десять дней прибыл в Н. В пути от Бухареста умерло еще около тридцати раненых. Их похоронили рядом с насыпью железной дороги. Может, еще и сегодня около станций Костешти, Поткоава, Пьятра Олт, Крайова, Турну Северин, Вырчиорова, Оршова и Мехадия удастся отыскать разбросанные могилы этих людей, достигнутых разрывами авиабомб в то самое время, когда они убегали от войны. В военных госпиталях, особенно в военное время, смерть является чем-то обычным и, если можно так выразиться, естественным. Но смерть в военном госпитале, размещенном в поезде, который следует из зоны фронта, сразу приобретает трагическую окраску. Когда-то давно рассказывали легенду о персидском шахе, который, услышав из уст оракула, что он умрет в такой-то день, не мог ждать смерти дома и, оседлав арабского скакуна, пустился вскачь. В легенде со всеми подробностями описывалось отчаянное бегство шаха от устрашающего видения смерти. Взмыленный конь несся по дорогам и извилистым тропкам, перепрыгивая через ямы и бурные потоки. И именно эта безрассудная скачка явилась причиной смерти шаха: он вместе с конем провалился в пропасть.

Нечто подобное случилось и с санитарным поездом, эвакуированным из Молдовы. И нет ничего ужаснее смерти уже однажды раненных людей, попавших еще раз под проливной дождь осколков, которые неожиданно превратили состав в море воплей и стонов.

В момент прибытия этого необычного железнодорожного состава на вокзале города Н. находилось еще десять или одиннадцать составов с промышленным оборудованием или материалами, эвакуированными из прифронтовой полосы. Один из составов был набит гитлеровцами. На

нагонах красовалась надпись: «8 лошадей — 40 человек». Солдаты были очень молодые, почти подростки, и, может быть, именно поэтому они, казалось, гордились своей миссией. Они играли на губных гармошках, аккордеонах, орали песни, и песни эти не имели ничего общего с грустной атмосферой оставшихся позади мест. Песни походили на марши, и солдаты выкрикивали их всей силой легких. Какой-то человек из толпы, собравшейся на перроне, по-немецки бросил:

— Schadenfreude¹.

Он произнес это слово с таким презрением, что его товарищ быстро схватил говорившего за руку, будто хотел защитить от опасности, и потащил в сторону.

— Да,—добавил человек, произнесший немецкое слово,—они с какой-то садистской радостью творят зло... Да тебе-то что? Ведь ты поэт, воспевающий только возвышенное, а не социолог или статистик страданий, причиненных войной. Я вижу у тебя «Семеникул» в кармане. Что, опять напечатали какой-нибудь твой стихок?

Задавший этот вопрос был военврачом гарнизона, и на вокзал он пришел, чтобы встретить санитарный поезд. Он получил приказ с прибытием госпиталя в город работать в нем хирургом, одновременно сохраняя за собой должность врача батальона пограничников. Второй был преподавателем румынского языка в местном лицее, в здании которого должен был разместиться госпиталь. Но они не знали, что увидят только жалкие остатки лазарета, превратившегося в пути в гигантский морг.

На вокзале в это время толпилось много народу. Здесь были шахтеры, ожидавшие поезда на Анину, рабочие, направляющиеся в Решицу в послеобеденную смену, и крестьяне из Амарадии и Рэстоци, прибывшие в город по своим делам. В пестрой толпе выделялась многочисленная группа женщин из патронажного совета. Это были дамы высшего света города, крикливо одетые, болтавшие до хрипоты, жестикулирующие. Из трубы полевой кухни валил дым. В закрытом котле klokотало несколько сот литров ячменного кофе. Тут же, выстроившись в ряд на каменных плитах перрона, стояло несколько больших плетеных корзин, покрытых простынями, на которых легко различался штамп патронажного совета. Корзины были

¹ Злорадство (нем.).

наполнены хлебом и кусками колбасы. Одна из дам, одетая в какое-то подобие военной формы, с пилоткой на голове, по-видимому, возглавляла эту многочисленную делегацию патронажного совета. Это была пышнотелая женщина лет за тридцать, с крупными руками и круглым, красным, как огонь, лицом.

Дама эта была женой пехотного полковника, префекта уезда, человека лет пятидесяти пяти. Когда он выезжал со двора, на козлах его коляски с важным видом всегда восседал сержант полиции, а самого его можно было принять не за префекта небольшого городка или простого полковника, а бог весть за какую важную персону. Звали его Бенедикт Попеску-Зимича. В 1920 году он окончил военное училище Сен-Сир во Франции, правда, с посредственными оценками, поскольку, вместо того чтобы заниматься на учебном плацу или на тактических учениях, он, жадный до вина и женщин, предпочитал убивать время в парижских ресторанах и барах. Его отец был префектом в одном из придунайских уездов еще до первой мировой войны, затем занимался экспортом скота и зерна. Теперь сын тоже стал префектом и всякий раз во время очередной попойки, пытаясь предугадать свое будущее, говорил: «Как и отец, я тоже буду торговать пшеницей». Жена префекта относилась к тем существам, которые не принимают близко к сердцу никакое несчастье и даже после смерти, кажется, сохраняют на лице улыбку. Крутые бедра, мясистые губы, полные руки с большими ладонями делали ее вульгарной. Не помогали даже туалеты, шитые в самом лучшем доме мод Тимшоары. Сейчас, в форме члена патронажного совета, затянутая полотняным ремнем, она походила на командира жандармского отряда, переодевшегося в женское платье. Ее раздражало, что поезд задерживается, поэтому она то и дело поглядывала на часы и, поскольку стояла рядом с дверью, на которой было написано: «Начальник станции», через каждые пять минут вызывала его и спрашивала:

— Что мы здесь делаем? Забавляемся?

— По телеграфу мне сообщили, господа, что состав должен прибыть с минуты на минуту.

Из эшелона с гитлеровцами продолжали доноситься звуки бравурных маршей. Под кусками брезента, раскрашенными разноцветными пятнами и наминавшими из-

за этого панцири огромных черепах, виднелись стволы орудий, вырисовывались контуры башен тапков и кабин автомашин. Толпа, собравшаяся на вокзале, смотрела больше в сторону этого состава. Только жена префекта никуда не смотрела. Она думала о речи, которую ей предстояло произнести по прибытии санитарного поезда. У нее не было написанного текста. Свои речи, например, на «балу инвалидов», в «день героев» и на многочисленных торжествах, организуемых патронажным советом, она обычно пропозносила без бумажки. В толпе ее взгляд уловил военврача Мирчу Ванчиу и преподавателя румынского языка Кэтанэ. И она решила поразить их своей блестящей речью.

Через несколько минут прибыл санитарный поезд. Дамы из патронажного совета думали увидеть поезд украшенным флагами и зелеными ветками. На вокзал они пришли с букетами цветов, но в такой обстановке цветы оскорбляли. Из более чем тридцати вагонов, оставшихся в составе, не было ни одного неповрежденного. Толпа с удивлением смотрела на изрешеченные пулями крыши, на стены вагонов с оторванными и искромсанными листами жести, на окна без стекол, завешенные простынями и одеялами, на часовых, с сумрачным видом стоявших на ступеньках вагонов. Поезд медленно продвигался вперед и остановился у перрона. Половина вагонов проплыла перед собравшимися на вокзале, словно в фильме с ускоренной съемкой, прежде чем поезд остановился. Остановился бесшумно, как будто он прибыл на вокзал не несколько секунд, а несколько часов назад. Долетавшие из немецкого эшелона марши звучали теперь пронически, как звучал бы похоронный марш на свадьбе или чарльстон во время похорон. Жена префекта, далекая от понимания того, что к такому случаю меньше всего подходит торжественная речь, подождала, пока по ступенькам вагона спустится офицер, которого она приняла за начальника разбитого госпиталю, и своим тонким голосом с металлическими нотками поспешила выпалить:

— Замечательные наши герои! Наша гордость!

Медицинский полковник, первым вышедший из вагона, быстрыми шагами подошел к ней и голосом, сдавленным то ли от волнения, то ли от усталости или гнева, сказал ей:

— Госпожа! Оставим громкие слова! Нам нужно не-

сколько санитарных машин и фургон. В поезде десять трупов. Они разлагаются...

3

Перевозка раненых и имущества госпиталя продолжалась до позднего вечера. Трупы солдат, умерших в поезде, погрузили в фургон и перевезли в морг местного госпиталя.

Жена префекта хотела во что бы то ни стало организовать пышные похороны и не понимала, почему врачи противились этой идее.

— В этом нет необходимости, госпожа, — резко сказал ей полковник, начальник госпиталя. — Некоторые из солдат умерли от тифа. Хотите, чтобы в городе вспыхнула эпидемия?

Ранним утром солдат похоронили на городском кладбище. Вагоны санитарного поезда, продезинфицированные феноловой кислотой, стояли потом на запасных путях около двух недель. Смотревшим на эти пустые, разбитые и изрепеченные вагоны они казались вагонами траурного поезда, что было недалеко от истины.

Старое здание лицея, окруженное с трех сторон парком, было превращено в госпиталь.

4

Вскоре после прибытия санитарного поезда на вокзале появился незнакомец. Из-за невообразимой сутолоки на перроне его прибытие осталось незамеченным. Он ехал в одном из вагонов поезда Берзовия — город Н.

Днем раньше, а точнее 25 апреля 1944 года, в четыре с половиной часа утра состав, который должен был отбыть из Тимишоары в направлении Берзовии, как и обычно, стоял на восьмом пути, но не перед вокзалом, а где-то у товарных складов. Военный комендант округа и инспекция железных дорог не так давно издали приказ, в соответствии с которым все составы, следующие в направлении на Арад, Липову, Бузиаш, Решицу или Сыниколаул Маре, должны были стоять не у главного перрона, а на несколько сот метров дальше, чтобы в случае воз-

душной тревоги их можно было быстро вывести со станции. Воздушный налет на столицу 4 апреля явился началом многочисленных рейдов, и с тех пор в Румынии царил атмосфера постоянной тревоги и напряжения.

В тот день, 25 апреля, до отхода упомянутого пассажирского состава оставалось несколько минут. Опершись локтями о края своей будки, машинист паровоза смотрел в сторону перрона с озабоченным видом, свойственным всем машинистам, когда они ждут появления дежурного по станции, который обычно вручает им путевой лист. Вот дежурный появился в конце перрона. Машинист снял локти с края будки и, открыв железную дверцу, спрыгнул на землю. Дежурный по станции подошел и протянул ему путевой лист, но в следующее мгновение возле него остановился какой-то человек, бежавший вдоль вагонов. Очень серьезным и возбужденным тоном он произнес:

— Этот поезд еще не уходит!

Человек отвернул лацкан пальто — блеснул значок — и добавил тем же тоном:

— У нас есть дело на пять минут.

Машинист уже не стал подниматься в будку и с любопытством наблюдал за происходящим. Через несколько минут одного из пассажиров ссадили с поезда. Он вышел из вагона в сопровождении двух гражданских, без конца повторяя один и тот же вопрос:

— Что вам нужно от меня? Что вам нужно от меня?

Какой-то мужчина в толпе, метавшейся по перрону из стороны в сторону, наблюдал за этой сценой. Он выбрался из толпы и, пройдя быстрым шагом через зал ожидания, вышел на маленькую площадь перед вокзалом. Здесь он вскочил в трамвай. Через несколько минут после этого высаженный с поезда пассажир в сопровождении двух мужчин показался на каменных ступеньках, ведущих в здание вокзала. Его втокнули в машину, которая тут же тронулась с места. Все произошло так быстро, что никто из присутствовавших при этой сцене ничего не понял.

Спустя несколько часов в большое здание телефонного узла, что напротив кинотеатра «Капитол», вошла скром-

но одетая женщина и заказала срочный разговор с доктором Мирчей Ванчиу из города Н. Примерно через полчаса состоялся ничем не примечательный разговор. Агент сигуранцы¹ из отдела подслушивания телефонных разговоров прослушал его без всякого интереса.

— Мирча, это ты?

— С кем я говорю?

— Это Нора, дорогой мой. У меня большое несчастье. Я совсем убита!

— Что случилось?

— Умер Тави. Его оперировали, и он умер на операционном столе.

Затем женщина вышла из телефонной кабины, оплатила разговор и ушла. Она пошла по той стороне улицы, на которой находился кинотеатр «Капитол». Здесь толпилось много народу. Одни выходили из кинотеатра, другие ожидали начала следующего сеанса. Женщина повернула налево, к политехническому институту. Сделав несколько шагов, заметила, что на мосту патрули проверяют документы. Поворачивать назад было поздно. С отчаянием человека, попавшего в безвыходное положение, она мгновенно приняла решение. Прежде всего нужно успокоиться. Она — Нора Ванчиу, дочь старого профессора из карансебешского лицея «Траян Дода». Документы у нее в порядке. Работает она пианисткой в оркестре румынской оперы. Место работы никогда не меняла. Впрочем, до сих пор она десятки раз проходила через полицейские заграждения. У нее не раз проверяли документы. Но из головы не выходила мысль, что теперь ей предстоит тяжелое испытание. Нора подошла к мосту, и полицейский комиссар сказал ей, как и всем остальным пешеходам, проходившим через мост:

— Ваши документы, пожалуйста!

Нора достала из сумочки паспорт и протянула комиссару. Тот с равнодушным видом посмотрел его и бросил с упреком:

— Почему так плохо обращаетесь с документами? Обложка стоит всего несколько лей.

— Обязательно куплю обложку.

— Сначала зайди к нам сменить, — проговорил поли-

¹ Сигуранца — румынская тайная полиция. — *Прим. ред.*

цейский комиссар вкрадчивым тоном человека, напрашивающегося на свидание.

Нора пошла дальше, Полицейский долго смотрел ей вслед.

6

Пассажирский поезд, направляющийся в Н., давно вышел из Тимишоары и теперь мчался по рельсам, изви-вающимся меж яблоневых и сливовых садов, которые тя-нулись вдоль долины Караша. Он уже миновал Берзовию.

В третьем от паровоза вагоне, в купе у выхода, не-сколько пассажиров с безразличным видом смотрели в окно. Они ехали этой дорогой не первый раз. Знали каж-дое село, каждую железнодорожную будку, и поэтому в их взглядах можно было прочесть скуку. Только один из них озабоченно смотрел на чемодан из прессованного картона, оставленный или забытый пассажиром, который вышел на последней остановке. Он вспомнил, как тот ус-тало уселся на свое место и как в коридоре остановились двое мужчин. Они жестами вызвали его из купе. Пасса-жир вышел и больше не вернулся, и чемодан его теперь одиноко стоял на полке. «Может, он перешел в другой вагон?» — подумал пассажир, наблюдавший за этой сце-ной. Он отвел глаза от чемодана и тоже стал смотреть в забрызганное грязью окно.

Мужчину, арестованного перед отходом поезда при таких загадочных обстоятельствах, доставили не в поли-цию, а в здание неподалеку от стадиона «Электрика». В то время там стояли небольшие домики и несколько вилл. Некоторые из них были еще не достроены и каза-лись незаселенными. Эта окраина крупного промышлен-ного города в то же время чем-то напоминала деревню. В скромных домиках жили хозяева небольших огородов, вокруг них стоял запах навоза и удобрений. А в каких-нибудь пяти—десяти шагах возвышались двух- или трехэтажные виллы с большими окнами, закрытыми ставнями. В них жили очень богатые люди, по всей веро-ятности, владельцы крупных магазинов в центре города или быстро разбогатевшие мелкие промышленники.

В одну из этих вилл и доставили мужчину, арестованного утром в поезде. Машина, в которой его привезли, остановилась на пустыре, заросшем бурьяном и заваленном строительным мусором, потом въехала во двор, который был обнесен высоким кирпичным забором. Там утром, около девяти часов, начался допрос арестованного. До прибытия офицера сигуранцы, которому было поручено вести следствие, арестованного держали отдельно, в небольшой комнате. Пол комнаты покрывала плитка. В ней было всего одно окно с толстым стеклом, пропускавшим слабый, рассеянный свет. Изнутри даже нельзя было разобрать, имеется ли на окне решетка. Впрочем, арестованного это и не интересовало, поскольку он считал, что вилла тщательно охраняется. Несколько минут он стоял, опершись об оштукатуренную, но еще не побеленную стену. Потом, словно желая собраться с мыслями, сел на пол, покрытый пятнами извести. На лице его теперь можно было прочесть внутреннюю сосредоточенность. Чувствовалось, что ему раньше уже приходилось бывать в переделках. Он знал, что последуют допросы, и теперь в тишине тщательно обдумывал, какие вопросы ему могут задать и как на них лучше ответить. Арестованный, думал он, человек еще не побежденный. В худшем случае его могут подвергнуть пыткам. В таких обстоятельствах человек окидывает мысленным взором всю свою жизнь.

Арестованный вспомнил о своем первом провале одиннадцать лет назад, в 1933 году. Тогда он был учеником в Гривицких железнодорожных мастерских. Через несколько дней после подавления забастовки его, семнадцатилетнего, вместе с другими рабочими арестовали, обвинив в распространении коммунистических листовок. Тогда он жил вместе с матерью за мостом Гранд. Его арестовали дома. Мать уцепилась за него и плакала, умоляя жандармов отпустить ее мальчика. Но жандармы увели его. На допросах, как зверски его ни избивали, он повторял одно и то же: ничего не знаю, никаких листовок не видел. Тогда он был уверен в себе: никакими пытками враги не вырвут из него ни единого слова ни о листовках, ни о ячейке УТЧ¹, в работе которой он участвовал. Полицейские, арестовавшие его, вспомнили об отчаянных криках

¹ УТЧ — Союз коммунистической молодежи в Румынии перед второй мировой войной и во время нее. — *Прим. ред.*

матери во время ареста сына и решили устроить им очную ставку. Вежливым до издевательства тоном женщине сказали:

— Госпожа, ваш сын не захотел назвать имена своих товарищей. Как вам известно, мы сейчас на осадном положении. В таких условиях его проще всего отправить на тот свет...

Вся стойкость юноши исчезла в какую-то долю секунды, но в следующее мгновение, встретив полный достоинства взгляд матери, он пришел в себя. Мать ответила мучителям сына:

— Никто на всем белом свете не может лучше меня знать моего сына. Он хороший мальчик, добрый и послушный. Я знаю, он никому не мог сделать ничего плохого.

Октавиан не избежал тюрьмы. Несмотря на отсутствие прямых улик, он полтора года просидел в тюрьме Вэк-решти. А когда вышел из тюрьмы, матери уже не было в живых. Умерла она тихо и незаметно, как угасают люди, сломленные горем и одиночеством. У Тави был еще брат, которого в 1929 году тоже посадили в тюрьму за коммунистическую деятельность. Брат был старше его. В 1929 году, ко времени ареста, ему исполнилось двадцать три года. Он работал слесарем в железнодорожных мастерских в Тимишоаре. Звали его Валериу. До 1935 года он сидел в каторжной тюрьме в Карансебеше. Потом работал на вагоностроительном заводе «Астра» в Араде, пока в 1936 году не уехал добровольцем в Испанию, вступив в ряды интернациональных бригад, сражавшихся на стороне Испанской Республики. В 1937 году он погиб в боях за Мадрид. Тави ничего не знал о нем до 1939 года, когда неизвестно какими путями получил его блокнот с двумя сотнями страниц, заполненных дневниковыми записями. Отец их погиб в 1920 году во время железнодорожной катастрофы около Крайовы. Он был машинистом на паровозе. После гибели брата Октавиан остался один.

Долгое время Тави работал успешно и был уверен, что следы его окончательно затерялись. В документах Тави черным по белому было написано, что зовут его Ион Гэлетару и что он беженец из Байя Маре. И вот теперь он в лапах сигуранцы. Видимо, в его сложной, полной неожиданностей жизни подпольщика произошло нечто непредвиденное. Иногда в голову лезли мрачные мысли: он

остался последним в семье, с которой судьба безжалостно расправилась; может быть, теперь пришла его очередь. И все же он говорил себе, что его долг — бороться до конца.

Через некоторое время арестованного привели в кабинет следователя. По виду ему нельзя было дать больше тридцати пяти. В элегантном гражданском костюме, который был на нем, он чувствовал себя неловко. Руки держал в карманах, будто желал показать, что в руке у него пистолет, который он может использовать в любую минуту. В комнате с задернутыми тяжелыми драпировками и горячей люстрой их было только двое, но при малейшем шуме сюда ворвались бы вооруженные жандармы. Следователь казался спокойным, хотя в его пристальном взгляде можно было прочесть жгучее любопытство. Глаза его горели каким-то фанатическим блеском. Он предложил арестованному сесть в одно из мягких кресел, стоявших посреди комнаты на почтительном расстоянии от письменного стола, на котором лежало одно-единственное «дело» — серая папка. Октавиан сел. Следователь стоял в нескольких шагах от арестованного и, казалось, был доволен тем, что арестованный с первого момента проявил послушание. При виде арестованного у него появилось с трудом скрываемое желание продлить без всякой определенной цели напряжение первых минут. Точно так же кошка играет с мышкой, прежде чем наброситься на нее. Однако потом следователь нахмурился. Он начал говорить таким тоном, словно ему уже все известно и он ждет от арестованного лишь малозначительного подтверждения, без которого на худой конец можно обойтись:

— Господин Октавиан, чтобы не терять времени, садитесь за стол, берите бумагу, ручку и пишите нечто вроде «*scurriculum vitae*»¹. Мы хотим знать абсолютно все. Само собой разумеется, мы хотим, чтобы вы указали имена всех тех, кого вы знаете, их точные адреса. Кроме их настоящих фамилий укажите и конспиративные клички, учитывая, что мы устроим вам с ними очную ставку. В вашем распоряжении все утро, точнее, от девяти с четвертью, — он посмотрел на часы, — до четверти первого, то есть ровно три часа. Если напишете все, что от вас требуется, уйдете отсюда беспрепятственно. И даже получите

¹ Жизнеописание (лат.).

чек на солидную сумму. В противном случае пеняйте на себя.

Следователь взял со стола «дело» и нажал на кнопку. Вошел мужчина. Следователь попросил его принести бумагу, ручку и чернила. Тот очень быстро вернулся с пачкой бумаги, пресс-папье, ручкой и чернильницей и положил все это на стол. Затем оба они направились к двери. Обернувшись, следователь сказал:

— На окнах, как видите, решеток нет. И все же побег приведет лишь к тому, что вас застрелят. В лучшем случае наденут кандалы.

Арестованный знал одно: положенные перед ним листы бумаги или останутся чистыми, или в крайнем случае окажутся заполненными тем, что не имеет к делу никакого отношения. Подумав, он решил, что действительно есть смысл исписать как можно больше страниц, но речь пойдет не о нем, а об Ионе Гэлетару. И Тави начал писать. К двенадцати часам он исписал около пятнадцати страниц. Следователю, пришедшему узнать, как идут дела, он сказал, что еще не кончил и что ему потребуется еще не менее часа. Следователь разрешил тоном человека, убежденного в том, что он является хозяином положения. В час следователь опять вошел в комнату. Арестованного вывели. Следователь быстро пробежал исписанные страницы и потребовал, чтобы арестованного опять привели к нему.

— Видишь ли, я единственный человек в сигуранце, который ни с одним арестованным не обошелся плохо. Бить — проще всего, — начал следователь. — Но у меня другая натура. Как ты сам понимаешь, по примеру своих коллег я мог бы довести тебя побоями до умопомрачения, потом привести в себя и еще раз повторить процедуру, пока ты не попросишь прощения и не расскажешь даже, как молоко сосал, будучи в пеленках.

Лицо следователя снова помрачнело, будто он, глядя на арестованного, уже видел его всего в крови. «Сукин сын, фокусник! Дождаться бы только ночи», — подумал про себя Тави, желая оттянуть время. Он, естественно, не знал, что сигуранца начала поиски его товарищей. Следователь же рассчитывал, что в руках полиции через несколько часов, самое позднее вечером, окажется и остальная часть руководящего ядра коммунистов. Именно этим и объясняется то обстоятельство, что Нора Ванчу — мало

кому известная пианистка из оперного оркестра — в то утро встретила кордоны полиции на всех важнейших перекрестках. Полиция запланировала устроить в городе невиданную по масштабам облаву. Сигнал тревоги, поданный неожиданным арестом Тави, заставил партийную организацию принять самые строгие меры предосторожности. Несмотря на то что кольцо облавы, охватившее весь город, постепенно сжималось вокруг центра и несмотря на лихорадочные поиски сигуранцы в течение всего дня, широко задуманная «сенсационная операция» практически никаких результатов не дала. Вечером, в десятом часу, все руководители групп доложили своему начальству, что никого не арестовали. Полный провал сигуранцы был очевиден. Следователь, допрашивавший Октавиана Дамшу, измученный напрасными надеждами, решил отложить допрос арестованного до утра. Однако ночью арестованному удалось бежать.

Дом, в котором держали под арестом Октавиана Дамшу, охранялся ничуть не меньше, чем обычное управление полиции или тюрьма. Но благодаря счастливой случайности, а также тщательно продуманному плану побег удался. Осуществление своего замысла Октавиан начал с дерзостью людей, которые, однажды приняв решение, рискуют жизнью, бросают на чашу весов все и, воспользовавшись благоприятным стечением обстоятельств, выходят победителями из самых безнадежных, на первый взгляд, положений. Вся операция заняла почти два часа, начиная с открытия окна комнаты, находившейся на втором этаже, и кончая спуском по металлической водосточной трубе на сторожевую будку, которая задней стенкой прижималась к каменному забору, окружающему небольшой парк. За забором была свобода. Вход в здание охраняли двое часовых. Третий пост находился в коридоре, куда выходила комната. Оказавшись по ту сторону забора, беглец побежал через поле. Свежевспаханная и боронованная земля была мягкой и теплой.

Все это происходило между одним и тремя часами ночи. Хорошо зная окраины города, беглец добрался до вокзала Фрателия и на заре уже сидел в одном из вагонов с углем в длинном товарном составе, мчавшемся по направлению к Берзовии. В Берзовии он перескочил в другой состав, тоже товарный, и таким путем добрался до города Н.

На вокзал города Н. он прибыл через четверть часа после прихода санитарного поезда. Там творилось что-то невообразимое. Разгрузка раненых была в самом разгаре, и мужчина, которому за истекшие сутки пришлось пережить такое, чего другому не приходится пережить за всю жизнь, направился к центру города, смешавшись с людским потоком. Его одежда была в угольной пыли, но лицо выражало радость.

7

Доктор Мирча Ванчиу жил на одной из окраинных улиц города — Огашу. Местные жители отзывались о нем как о человеке исключительно скромном и уравновешенном. Врач, да к тому же еще хирург, обосновавшийся в провинциальном городке, благодаря своей специальности относился к той категории людей, которые в любое время могут понадобиться, и поэтому с ними всегда стараются поддерживать хорошие отношения. Улица Огашу в то время походила на улицу села. Дома располагались только по одной стороне улицы, поскольку напротив этого ряда домиков текла речушка Огашу, летом пересыхающая. Другой берег речушки переходил в отвесный склон холма. Ночью улица не освещалась. Лишь в конце ее висела лампочка, но теперь в связи со светомаскировкой она тоже не горела. Но вернемся на улицу Огашу. Здесь насчитывалось около двух десятков домишек, рассчитанных на одну семью. Многие из проживавших на этой улице были крестьянами, которые устроились работать в городе и потому не могли считать себя ни горожанами, ни сельскими жителями. Так, к примеру, они имели по корове или по две-три козы, которых выгоняли пастись на дорогу, ведущую в Сырбулешти, а некоторые из жителей владели даже небольшими клочками пахотной земли. Почти в каждом доме имелся хилый поросенок, несколько кур. Хозяева работали в городе на весьма скромных должностях: стрелочниками или будочниками на железной дороге, десятниками на строительстве дорог, курьерами в учреждениях или почтальонами. Все они смотрели на врача с уважением и даже некоторым страхом.

Мирча Ванчиу был родом из Тимишоары. Родился он в доме рабочего железнодорожного депо. Этот скромный

домик и сегодня можно увидеть в квартале Мехала, в тупике рядом с улицей Богдэнештей. Мало кто знает, что в 1929 году, когда в Тимишоаре состоялся съезд профсоюзов, на процессе рабочего-железнодорожника Иона Ванчиу, которого судила военная коллегия, в качестве свидетеля выступал его сын Мирча, которому тогда было всего пятнадцать лет. Прокурор, военный следователь и полицейский королевский комиссар противились тому, чтобы на суде свидетелем выступал ребенок, но защитники, как и сами обвиняемые, настойчиво требовали, чтобы показания маленького свидетеля были заслушаны. Это требование было поддержано общественным мнением, и суду пришлось согласиться. Некоторые газеты того времени, несмотря на цензуру, опубликовали выдержки из вопросов и ответов, связанных с показаниями молодого Ванчиу. Диалог председателя трибунала с сыном рабочего-железнодорожника потряс всех. Малолетний свидетель, тогда ученик четвертого класса лицея имени Дьяконовича Лога в Тимишоаре, перед лицом людей, которые намеревались осудить его отца на долгие годы каторги, давал четкие ответы, что вызвало ярость судей, и в первую очередь королевского комиссара. В подшивках газет за ноябрь и декабрь 1929 года можно прочитать (правда, сильно урезанные) отчеты о процессе. Они составлены в виде стенограммы. В одном из них можно встретить следующий текст.

«Мы находимся в зале заседаний. Ввели ребенка в возрасте 15 лет, сына обвиняемого Иона Ванчиу. Между председателем военного трибунала и малолетним свидетелем состоялся следующий диалог:

Председатель. Сколько человек в вашей семье?

Свидетель. Нас шестеро братьев.

Председатель. Мать у вас есть?

Свидетель. Умерла в прошлом году.

Председатель. И кто заботится о вас?

Свидетель. Кто будет заботиться о нас? Сами...

Председатель. У вашего отца неплохое место. Может быть, он пропивал деньги?

Свидетель. Я никогда не видел его пьяным.

Председатель. Вижу, ты учишься в лицее. Значит, у вас все же есть такая возможность?

Свидетель. Я работаю рассыльным в магазине «Филт». Экзамены за лицей сдаю экстерном.

Председатель. Нет смысла задавать другие вопросы. Ребенок отвечает так, как его научили.

Защитник. Не согласен, уважаемые судьи. Я возражаю против такой злонамеренной интерпретации. Ребенок говорит правду.

Председатель. Достаточно...

Защитник. Я тоже хочу задать несколько вопросов от имени обвиняемого, которого защищаю.

Председатель. Пожалуйста, но прошу не затягивать дело.

Защитник. Постараюсь быть кратким.

Председатель. Предоставляю вам слово.

Защитник. Пусть ребенок скажет, пьет ли его отец и какой образ жизни он ведет.

Свидетель. Лучше моего отца нет в мире. Пьяным я его никогда не видел. Да у него и денег нет для этого. Всю зарплату он приносит домой.

Защитник. Зарплаты отца хватает вам на жизнь?

Свидетель. Я уже сказал, что работаю рассыльным в магазине. Кроме младшего брата, все остальные члены нашей семьи работают: один — на фабрике «Ильза», другой — на перчаточной фабрике, третий — кочегаром на паровозе, ему уже двадцать лет, и последний, как и я, — в магазине «Филт». Но утром и вечером мы ничего не едим. В обед, кроме капусты и фасоли, ничего другого не видим. Все родные говорят, что получают с зарплатой конверт, в котором всегда полно разных квитанций об удержаниях, налогах, сборах и штрафах.

Председатель (нервно, стуча кулаком по столу). Довольно! Это коммунистическая пропаганда!

Защитник. Вы боитесь даже ребенка.

Председатель. Вывести его из зала! У нас здесь не суд для малолетних. Мы рассматриваем дело, имеющее большое значение для всей страны, и нам некогда терять время на пустяки.

(Ребенка выводят из зала. Подталкиваемый жандармом в спину до самого выхода, он не спускает глаз со своего отца.)»

Мирча Ванчиу сумел все же окончить курс лицея имени Дьяконовича Лога и затем медицинский факультет Бухарестского университета. Только благодаря своим поразительным способностям, а также упорству и воле ему удалось получить диплом врача-хирурга.

В 1939 году его призвали в армию и направили врачом гарнизона в городе Н. В 1944 году ему присвоили звание капитана запаса. Прибыв в Н., он снял скромную меблированную комнату на улице Огашу, и с середины марта 1939 года на окрашенном голубой краской фасаде дома под номером 12 появилась белая эмалированная табличка с надписью:

*Врач
Мирча И. Ванчиу*

Он был на полном содержании, или «на полном пансионе», как говорили в тех местах, что означало: за какую-то сумму нанимателю обеспечивалось жилье, питание и стирка белья. Домик, в котором устроился Мирча, походил на крестьянский. Во дворе можно было видеть повозку с сеном или дровами. Хозяин дома работал путевым обходчиком на железной дороге, а жена его смотрела за хозяйством. Рукава у нее всегда были высоко засучены: то она месила тесто, то разделявала кукурузные початки, то рубила сечкой большие тыквы, то колола дрова на чурбане под навесом, то стирала белье в большом деревянном корыте. Ей пошел шестой десяток. Женщина гордилась тем, что у нее «на пансионе» доктор и что он называет ее тетей Ветой.

8

В семье обходчика был один сын. Он тоже работал на железной дороге. В начале июля 1941 года Партение Копэчана (так звали хозяина) вызвал к себе полковник Бенедикт Попеску-Зимнича, префект уезда. Полковник послал за ним дежурного с приказом немедленно доставить господина Партение Копэчана к нему в кабинет. Партение был свободен от дежурства и подметал двор метлой. Дежурный сказал ему:

— Господин Копэчан, быстро в префектуру. Приказано доставить тебя за минуту.

— А что мне делать в префектуре?

— Меня послал сам господин префект.

— Сам... сам... — пробормотал Партение.— Что ему надо от меня?

— Собирайся быстрее!

Копэчан с неохотой начал собираться, но в это самое время напротив его дома остановилась пролетка префекта. Кучер слез с козел и, войдя во двор, обратился к Партеции:

— Господин Копэчан, я приехал за тобой. Префект приглашает тебя к себе.

— Хм,—хмыкнул Копэчан, пораженный таким вниманием.

Он быстро оделся и сел в экипаж префекта. Вета проводила его до ворот.

— Вот увидишь, префект возьмет меня к себе в помощники,—пошутил Копэчан, откинувшись на спинку сиденья.

В префектуре Копэчана сразу провели в кабинет полковника Бенедикта Попеску-Зимнича. Тот поднялся и встретил посетителя с подчеркнутой вежливостью.

— Господин Копэчан, прошу садиться.

Полковник начал нервно прохаживаться от письменного стола к окну и обратно. Наконец он спросил:

— Господин Копэчан, ты человек сильный по натуре?

Партение не понял, о чем речь, и поднялся.

— Сиди, сиди, господин Копэчан.

— Но почему вы об этом спрашиваете?

— Я должен сообщить тебе... Твой сын...

— Исаак умер?!

— Крепитесь, господин Копэчан!

Партение закрыл глаза. Он почувствовал, что упадет в обморок, и обеими руками уцепился за спинку кресла. Все пошло крúгом. Полковника он видел будто сквозь пелену тумана и вращающимся с бешеной скоростью во круг невидимой оси.

Не отрывая глаз от вставленного в массивную бронзовую раму портрета, висевшего на стене, полковник торжественным голосом произнес:

— Мне приказано устроить солдату Исааку Копэчану национальные похороны. Траурный поезд прибудет на наш вокзал завтра в десять часов утра. Прошу тебя, господин Копэчан, держись стойко. Таким сыном можно гордиться. Я ведь сам военный человек. В первую миро-

вую войну потерял двух братьев... Прошу тебя, в эти минуты будь и ты солдатом.

Расчувствовавшись, полковник приблизился к Партение и снова усадил его в кресло. Потом подвинул стул ближе к креслу и отечески продолжал:

— Знаешь, что такое национальные похороны?

Партение, казалось, ничего не видел и не слышал.

— Скажи, у тебя есть другой костюм, кроме того, что на тебе?— продолжал полковник.

— Какое это имеет значение?

— Значит, нет?

Префект поднял трубку телефона, и Партение услышал, как он приказал кому-то:

— Думитреску, пусть ко мне зайдет мастер-портной, да побыстрее!

Он положил трубку на рычаг и тем же отеческим тоном сказал Партение:

— Так нельзя! Мы справим тебе костюм.

Через несколько минут явился портной — кожа да кости. Снял с Партение мерку и монотонным голосом проговорил:

— К завтрашнему утру костюм будет готов. Буду работать всю ночь.

Мастер ушел. Оставшись с префектом, Партение жалостливым голосом обратился к нему:

— Отдайте мне сына так, как есть... Я вас очень прошу. Не надо никакого парада.

— Это исключено!

— Почему же? Ведь он мой сын!

— Исключено! Он наш герой! Господин Копэчан, скажу тебе откровенно, если бы у меня был такой сын, патриотическая гордость заглушила бы во мне горе отца!

Партение Копэчан вышел из кабинета префекта. Полковник крикнул ему вслед:

— Господин Копэчан, сейчас я позвоню начальнику станции, чтобы тебе дали отпуск на три дня.

До позднего вечера Партение и Вета не имели ни минуты покоя. Им хотелось закрыться дома, занавесить окна, чтобы никого не видеть и не слышать, но скромный домик на улице Огашу неожиданно превратился в место паломничества. Прибыл полковник Бенедикт Попеску-Зимнича с женой в сопровождении нескольких дам из

патронажного совета, примаря¹, начальника городской полиции Вартиадиса. В осиротевшем доме началась сутолока, будто речь шла не о похоронах, а о каком-то торжестве.

В комнатах стоял запах воска и ладана. Кто-то зажег большую свечу и положил ладан на совок с углями. Суетня посторонних людей безжалостно нарушала атмосферу горя, пришедшего в дом.

— Господин примарь, венки заказали?

— Да, у цветочника Лигла.

— Венки должны быть большими. От гарнизона, семьи, префектуры, примарии, почты, полицейского управления, школ. Одним словом, от всех! Список разослали?

— Разослали.

— А текст надписей?

— И текст, господин префект!

— Никого не забыли? Дай-ка я сам посмотрю список.

— Пожалуйста, господин префект.

— «Вечная память. Префектура уезда». Плохо, господин примарь. «Вечная память»! Что за стиль?

— Я хотел поручить текст учителю литературы Кэтане. Он ведь и стихи сочиняет.

— И почему же не поручили?

— Он сказал, что не разбирается в таких делах.

— Тогда как же быть? Так не пойдет.

— Господа,—вмешался Вартиадис.—Мы сами составим текст.

— «Вечная память герою Исааку Копэчану от родного города».

— Плохо.

— Нужно что-то сильное и за душу берущее!

— «Храброму герою Исааку Копэчану, павшему, как настоящий солдат».

— Здорово,—вступила в разговор жена префекта.—А я сочинила стихотворение. Хотелось бы, чтобы его прочитал на могиле кто-нибудь из учеников лицея. Можно сказать, кто написал стихотворение?

— Само собой разумеется, госпожа!

— Оставь, дорогая, я думаю, этого не стоит делать,—вмешался муж, обеспокоенный тем, что его заставят слушать стихотворение прямо сейчас.

¹ П р и м а р ь — городской голова.

— Я сейчас вам его прочту,—настаивала госпожа Попеску-Зимнича.

— С удовольствием,—отозвался Вартиадис.

«Поэтесса» достала из сумочки сложенный вчетверо лист бумаги, развернула его и начала читать...

На другой день рано утром тишину улицы Огашу нарушил шум единственной в городе конной поливалки, которая несколько раз проехала из конца в конец. Затем прошли несколько дворников с совками и метлами. Ни свет ни заря явился Кирали, хозяин единственного в городе похоронного бюро. Он пришел в сопровождении двух подмастерьев, которые задрапировали ворота дома черной тканью и прибили к ним жестяные пластинки с инициалами погибшего. Украсили ворота двумя большими траурными венками и вывесили большой траурный флаг.

Партение и Вета проснулись, разбуженные стуком молотков по деревянным створкам ворот. Партение молча смотрел на Кирали. В этот момент мимо дома проехала поливалка. Двое полуголых мальчишек бежали вслед за поливалкой, мокрые с головы до ног. Потом на углу улицы показалась пролетка префекта. Над лошадьми, над железной каской солдата-кучера Партение заметил белый и длинный султан префекта, одетого в форму для самых торжественных приемов. С трудом выйдя из экипажа, префект с вытянутыми руками направился к Партение.

— Господин Копэчан, в тяжелые минуты я с вами!

Копэчан пробормотал что-то, но полковник не слушал его. Полковника больше интересовали черные флаги, вывешенные на фасаде ворот.

— Мастер, тебе не кажется, что флаги висят слишком близко друг к другу?

Кирали опытным взглядом посмотрел в сторону, куда показывал префект, но ему не показалось, что флаги висят близко.

С удовлетворением отметив присутствие дворников и поливалки, полковник вместе с Партение пошел в дом. Он возмутился, когда увидел, что жена Партение вынимает из печки калачи.

— Вот об этом я совсем забыл,—с досадой сказал префект.—Калачи из кафетерия были бы лучше!

Потом он осмотрел комнату и спросил:

— Костюм принесли?

Партение показал на спинку стула.

— Оденься, потому что через час мы поедем на вокзал.

— Я останусь в том, что на мне,—ответил Партение.

— Исключено! Надевай новый костюм! Через час пришло за вами обоими коляску, чтобы вас отвезли на вокзал.

Префект поспешно уехал, а минут через десять после него на вокзал уехал и Партение, так и не переодевшись в новый костюм. В городе, казалось, ничто не изменилось. Повозка, запряженная прихрамывающей лошастью, направилась к вокзалу. Несколько крестьянок шли на рынок, толкая тележки с зеленью. На балконе одного из домов прислуга выбивала ковры, напевая песенку. Из другого окна доносились звуки патефона.

С вокзала кортеж направился на городское кладбище. Партение не смогли найти. Траурная процессия двинулась в путь. Зазвонили колокола. На площади перед префектурой кортеж остановился, и Бенедикт Попеску-Зимнича произнес речь, изобиловавшую высокопарными словами, но они никого не тронули.

Позади процессии, там, где шли две старухи с корзинами калачей на голове, смешавшись с остальными, шел и Партение в своей поношенной одежде обходчика. Только на кладбище, как раз в то самое время, когда загремели ружейные залпы и гроб на веревках стали опускать в могилу, он пробился вперед. Префект заметил его и, схватив за руку, спросил:

— Где ты был до сих пор?

Партение промолчал. Нагнулся, взял комок земли, судорожно размял его и бросил на гроб.

На следующий день к Копэчану явился портной. Господин префект послал его забрать костюм, «который господин Партение Копэчан все равно не надевает, а гарнизон должен за него отчитываться». Партение безропотно отдал костюм. И даже почувствовал облегчение, будто отделался от непростительного греха. Через неделю после похорон он заменил металлический крест на могиле сына деревянным, на котором написал: «Здесь покоится наш любимый сын Исаак Копэчан. Умер 22 июня 1941 года». Снял с креста и железную каску. Этот чугунный котелок напоминал ему ворона. Попросил кладбищенского сторожа убрать с могилы венки. Около креста поставил свой зажженный фонарь обходчика. На могилу пришел вместе

со своим приятелем Ефтой Марку Акимом, машинистом маневрового паровоза. Тот сказал ему:

— Друг, твой сын погиб за то, чтобы было хорошо этим разжиревшим господам...

Потом Партение Копэчана вызвали на мобилизационный пункт гарнизона. Он не знал зачем, хотя предполагал, что это по поводу пенсии за сына. Он уже решил, что ответит им: «Вы уже дали ему достаточно. Вы досыта накормили его землей». Но его вызвали не по поводу пенсии. В канцелярии Партение встретил старшина и сказал:

— Господин Копэчан, прибыли вещи вашего сына. Вот опись. Прошу прочитать и расписаться.

Партение расписался, не прочитав бумаги, на которой было напечатано: «Список вещей, найденных при убитом солдате Исааке Копэчане и в его солдатском сундуке: 1 щетка для сапог; 1 коробка с ваксой; 1 пара кальсон хлопчатобумажных; 1 фотография; 2 пары шерстяных носков; 9 штук пуговиц металлических и прочих; 1 катушка ниток и швейная игла; 4 пачки сигарет «Плугар»; 6 неиспользованных военных почтовых открыток».

Партение сложил вещи в деревянный сундучок, закрыл крышку и вышел, держа сундучок на плече, будто нес гроб.

9

Больные, приходившие получить консультацию на дому, ждали на кухне, выложенной красным кирпичом. Летом здесь было прохладно, потому что летом Вета готовила обед в кухне под навесом. Зимой на кухне было тепло, как в турецкой бане, и тогда Вета открывала дверь. Потоки холодного воздуха врывались через приоткрытую дверь в кухню, смешивались с аппетитным запахом, идущим от горшков, которые стояли на плите, и с ароматом айвы, выложенной в ряд на полочках и на кухонном шкафу. Вытирая влажные руки о передник, Вета не переставала расхваливать господина Мирчу — лучшего доктора во всем городе. «У него золотые руки, — говорила она. — Операции у него всегда проходят хорошо».

Одно не нравилось Вете в докторе: «Не разрешает он мне класть перцу и соли столько, сколько я считаю нуж-

ным. Здесь же не госпиталь, господин Мирча, говорю я ему, а он отвечает всегда одно и то же: «Ладно, оставь, обед и без того вкусный. Вместо перца положи лучше петрушки».

Комната, в которой жил и принимал больных доктор Мирча Ванчиу, нравилась всем, кто приходил сюда впервые, своей простотой. Деревянная кровать с высокими спинками, двустворчатый шифоньер, простой буковый книжный шкаф во всю стену, забитый книгами, круглый стол, несколько стульев с потертым верхом, на полу неяркий крестьянский ковер, деревянный умывальник и глубокий зеленый фарфоровый таз — настоящий экспонат для музея. На стенах (и это поражало) — картины К. Люба, Корнелиу Баба и Катула Богдана.

В тот день, о котором идет речь, доктор не приходил домой до самого вечера. Вета узнала от мужа, что прибыл санитарный поезд. «У доктора, наверное, много работы», — подумала женщина. И все же она, как и все женщины, материнская любовь которых распространяется на чужого человека, была обеспокоена этим неожиданным и столь затянувшимся опозданием. Часов около четырех начали приходить больные на консультацию, и теперь они тоже ждали доктора. Лица у них были задумчивые и озабоченные, как у всех больных, ожидающих приема. Хлопоча на кухне, Вета подбадривала их, расспрашивала о болезнях и даже давала советы с видом человека, долгое время живущего бок о бок с доктором и поэтому знающего медицинские секреты.

— Если у тебя болит спина, возможно, это ревматизм. Боли отдаются в плече? Тебе надо носить шерстяной свитер и беречься от простуды.

В кухне набралось около десятка больных. Двое из них ушли, сказав, что придут позже. Наконец приехал бледный и усталый доктор Мирча Ванчиу, как обычно, в пролетке, принадлежащей госпиталю. Вета, услышав стук колес, радостно проговорила:

— Ну вот и господин доктор прибыл.

Затем и больные слышали шаги доктора и поднялись со своих мест. Вета бросилась открывать дверь, взяла из рук доктора шляпу и повесила ее на вешалку. Видя, что он даже не посмотрел на плиту, где стоял обед, с беспокойством спросила:

— Может, сначала поедите, господин Мирча?

Доктор отрицательно покачал головой, и только тут Бета заметила, что он или очень устал, или чем-то сильно расстроен. Мирча вошел в комнату, и Бета шепотом обратилась к больным:

— Долго его не задерживайте, он очень устал.

Прием подходил к концу, когда в половине десятого пришел еще один больной. Это был высокий, плотный, широкоплечий мужчина с черной бородой и зелеными глазами, в которых угадывалось некоторое волнение. С виду он был здоров. Войдя в кухню, спросил:

— Господин доктор дома?

— Дома,—ответила Бета,—но не знаю, будет ли он еще принимать. Недавно вошел последний больной и доктор сказал: «Слава богу, и этот день прошел, а то я здорово устал».

— Но у меня серьезное дело.

— Завтра зайти не можете?

— Не могу. Он должен посмотреть меня сегодня.

Бета оглядела его с некоторым недоверием. Уж очень не походил на больного этот высокий, крепкий мужчина. Догадавшись, почему женщина так внимательно рассматривает его, посетитель поднес ладонь ко рту и несколько раз фальшиво и явно через силу кашлянул.

— Что-нибудь с грудью?

— Да.

— Тогда подождите доктора.

— Подожду.

— Видно, вы не из нашего города. Я вас ни разу не встречала.

— Я из Молдовы.

— Из Ясс?

— Да.

Мужчине явно не хотелось разговаривать. Он отвечал сухо и односложно, и Бета оставила его в покое. Ей не нравились сумрачные люди. Когда последний больной ушел, мужчина поднялся. Он едва не доставал почерневшего от дыма и копоти деревянного потолка кухни. Одетый в белый халат, доктор Ванчиу пригласил его войти в кабинет.

— На что жалуетесь? — спросил Ванчиу, убирая в никелированную коробку шприц и иглы.

— Вы лечите по методу доктора Аберфельда?

Вопрос казался вполне естественным в кабинете, где

идет прием больных, но доктор Ванчиу поднял глаза на незнакомого мужчину, и, казалось, его очень удивили слова, которые тот произнес отчетливо, с небольшими паузами, будто они должны были подчеркнуть заключенный в них скрытый смысл. Доктор Ванчиу ответил:

— Не понимаю, что вы хотите этим сказать.

— Я просто спрашиваю: вы лечите по методу доктора Аберфельда? — повторил незнакомец, глядя в глаза Ванчиу.

— Я не доктор Аберфельд.

У незнакомца от волнения начали дрожать руки, а на лбу выступили капли пота.

— Я знаю, что вы не доктор Аберфельд. Но я специально приехал из Тимишоары, узнав, что вы лечите по его методу.

— Не понимаю, что вы хотите этим сказать. Вы ошиблись. Прошу вас выйти.

Но вместо того чтобы уйти, незнакомец сел на стул и обхватил голову руками. Затем снова посмотрел на Ванчиу. Он был явно удивлен и огорчен, что доктор не понимает его.

— Значит, вы не лечите по методу доктора Аберфельда? — повторил он еще раз свой вопрос, который теперь уже звучал довольно странно.

— Нет.

Удивление посетителя достигло предела. Он еще раз взглянул на доктора и только теперь осознал, в каком отчаянном положении оказался. Несколько секунд он сидел молча. Потом поднялся со стула, явно торопясь уйти, будто это было очень опасное место. Взяв шляпу, сказал:

— Прошу прощения.

Через несколько минут он уже был на улице.

На другой день доктор Ванчиу уехал в Тимишоару по служебным делам. Ему нужно было попасть на военно-санитарный склад и ускорить отправку аппаратуры, предназначенной для нового операционного корпуса в военном госпитале города Н. Доктора мучило беспокойство в связи с визитом к нему незнакомца. Он понимал, что произошло что-то непонятное. Однако Ванчиу ничем не показал своей радости, когда у него появилась возможность поехать в Тимишоару. Приказание полковника-военврача он выслушал с равнодушным видом.

— Поезжайте в корпус и добейтесь срочной отправки материалов, в которых мы нуждаемся.

— Ясно.

— В четверг в восемь утра явитесь ко мне и доложите, что вам удалось сделать.

Более благовидного предлога для поездки в Тимишоару трудно было придумать. Телефонный звонок Норы насторожил доктора. Он понимал, что случилось что-то серьезное. Но еще больше взволновало его появление у него в доме Тави: ведь уже сообщали, что тот больше не сможет приехать. Так или иначе, в Тимишоаре он узнает, что же именно произошло и что следует делать дальше. Ванчиу отправился домой и стал собираться в дорогу. До отхода поезда оставалось еще около двух часов. Времени у него было достаточно, тем более что госпитальный экипаж заедет за ним. До вокзала он доберется за четверть часа. Сам не зная почему, доктор надел белый тиковый костюм, который до сего времени надевал всего раза два или три. Теперь Ванчиу выглядел элегантно. Серебро на висках, глубокая складка поперек лба, свежевыбритое лицо, белый накрахмаленный воротничок сорочки, носовой платок в нагрудном кармане — все это придавало ему изысканный вид. В кожаный чемоданчик доктор положил только самое необходимое: сорочку, пижаму, бритвенный прибор, мыльницу, зубную щетку и полотенце.

Заботливая, как всегда, Вета не разрешила ему уехать без свертка с едой.

— Ты что, господин Ванчиу, собираешься там голодать?

Хозяйка проводила доктора до ворот. Он поднялся в пролетку и невольно улыбнулся, услышав последние слова Веты, обращенные к кучеру:

— Господин Йоца, смотри не переверни господина доктора!

Нежная материнская забота Веты проявлялась буквально на каждом шагу: «Не простудитесь, господин доктор», «Не торопитесь, ешьте спокойно, господин доктор», «Не схватите тифа там, в своем госпитале», «Вы очень много читаете по ночам, господин Мирча, можете испортить себе глаза». Вете казалось, что ее предупреждения оберегают доктора от всех бед. Другого подобная забота могла бы довести до отчаяния. Но Ванчиу с детства рос без матери, и сейчас заботы Веты приносили ему успо-

коение. Может, благодаря этим самым заботам он глубже чувствовал красоту падающего крупными хлопьями снега, чудодейственные ароматы цветов, растущих в палисаднике перед домом, научился ценить запах свежевыстиранных и выглаженных сорочек — одним словом, все те мелочи, которыми был окружен в доме Веты.

Обо всем этом думал Ванчиу, проезжая в пролетке по главной улице города. Навстречу ему двигались повозки, нагруженные старой мебелью, одеялами, матрацами и подушками. Пролетка проезжала мимо ресторана Стойковича, когда перед витриной фотоателье Ванчиу показалось, что он увидел вчерашнего незнакомца. Борода у него отросла еще больше, и черные круги под глазами выдавали крайнюю усталость. Поношенная одежда имела такой вид, будто незнакомец спал одетым где-нибудь в сарае. Но доктор ошибся. Это был не тот человек, который спрашивал его, не лечит ли он по методу доктора Аберфельда. Этого человека он видел впервые.

В поезде он ехал в купе второго класса, обитом темно-синим плюшем. Занавеску он наполовину задернул, и человек, который стал бы незаметно наблюдать за ним, сразу понял бы, что этот невероятно элегантный по тем временам господин определенно чего-то боится. Прищурившись, Ванчиу смотрел на толчею на перроне и нервно курил. В последнюю минуту в вагон поднялся немецкий офицер. Он занял место в купе, где устроился Ванчиу. Это был лейтенант с красным лицом без следов растительности, из-за чего не представлялось возможным определить его возраст. Руки лейтенанта были покрыты красными и коричневыми пятнами: видимо, он перенес корь или желтуху. Когда офицер снял фуражку, Ванчиу увидел большую, блестящую от пота лысину. В те времена подобный тип военного встречался довольно часто. Лейтенант сидел неподвижно, с отсутствующим взглядом. Присутствие офицера в купе усилило беспокойство Ванчиу, но офицер сошел в Берзовии, и доктор до самой Тимшоары ехал один.

При отъезде из дому он продумал план, но сейчас счел более разумным действовать по-другому. На вокзале взял такси и поехал прямо на склад. Там пробыл до шести часов вечера, пока не закончил все свои дела. Затем направился к центру города и через служебный вход вошел в здание Румынской оперы. Швейцар дремал в дере-

вянной будке с окошком. Ванчиу сказал, что хочет видеть госпожу Нору Ванчиу из оркестра. Спектакль начинался в восемь, а на часах было еще лишь семь с четвертью. Швейцар ответил, что госпожа Ванчиу еще не приходила. Это был тщедушный седовласый старичок. На лице его легко читалась наивная ребяческая гордость, присущая швейцарам гостиниц, театров и учреждений, которые считают, что ливрея с медными пуговицами равноценна форме генерала. Говорят они обычно тоном важных персон. Швейцар пригласил Мирчу подождать в коридорчике, который вел от будки до лестницы с чугунной балюстрадой. Здесь стояла деревянная скамейка с резьбой во флорентийском стиле, по-видимому, из театрального реквизита. Ванчиу сел на скамейку. За полчаса перед ним прошло много разных людей: мужчины, беззаботно насвистывающие арии, элегантно одетые актрисы, молоденькие девушки из кордебалета, музыканты оркестра с инструментами под мышкой. Наконец появилась Нора. На улицу они выходить не стали. Поговорили прямо здесь, в конце слабо освещенного коридора. Мирча сказал ей:

— У меня сложилось впечатление, что произошло нечто непредвиденное. Ты мне сказала по телефону, что Тави не может прийти. А на другой день после твоего звонка поздно вечером ко мне домой явился незнакомец и назвал пароль. По-видимому, это был Тави.

— И что же ты сделал?

— Я, естественно, подумал, что это провокация, и притворился, что ничего не знаю. Что будем делать теперь?

— Действительно, произошло нечто очень серьезное. Сигуранца арестовала Тави за несколько секунд до отхода поезда. Товарищ, который наблюдал за ним, чтобы убедиться, что при отъезде на вокзале не было никаких инцидентов, сразу же сообщил руководителям организации о неожиданном провале Тави. Последовал мой звонок. Но между тем Тави удалось вырваться из когтей сигуранцы. Потом я узнала все подробности его побега, который привел сигуранцу в бешенство. У Тави большой опыт подпольной работы. Формально ты поступил правильно. В действительности же опасность миновала с побегом Тави. Сегодня утром я звонила тебе, но ты был уже в пути. В любом случае Тави еще раз попытается связаться с тобой. Следовательно, теперь ты знаешь, что нужно делать. Жди и одновременно пытайся сам найти его. Пере-

дай ему, что говорил со мной и что здесь все в порядке.

— Понятно.

— Теперь тебе нужно уезжать. Этой же ночью. Тави должен застать тебя дома.

— Уеду сегодня вечером. Утром буду дома.

Мирча ушел. Вечер выдался тихий, весенний. Если бы на бульваре, протянувшемся от здания оперы до здания кафедрального собора странной архитектуры, не попадались столько военных, можно было бы подумать, что сейчас мирное время. Но помимо военных тысячи мелочей красноречиво говорили о том, что шла война. Уже четвертый год. Кругом — темнота. Трамваи ходили с синими огнями. Доски объявлений, огромные окна витрин были заклеены белыми прямоугольниками приказов, объявлений, пропагандистскими афишами. Любой прохожий мог разглядеть их даже в темноте. Пройдя мимо них, Ванчиу остался доволен: дела не приняли плохого оборота. Теперь он не сомневался, что Тави вновь появится у него в кабинете.

Через час Ванчиу был уже в купе ночного поезда, отправляющегося в Берзовию и далее в город Н.

10

Теперь вернемся немного назад и посмотрим, что случилось с чемоданом, который оставил в вагоне неизвестный пассажир. Первым, кто обратил внимание на чемодан, был пассажир, ехавший до Анины. Он был одет в темно-синий костюм из дешевого, широко распространенного в то время материала. Костюм был совсем новый. Спит он был наверняка каким-нибудь провинциальным портным. Лицо и руки пассажира были словно покрыты копотью. В первый момент в голову приходило, что это их естественный цвет, но при более внимательном рассмотрении все сразу становилось ясно: темный цвет кожи являлся следствием профессии этого человека. Поры кожи были забиты мельчайшей угольной пылью. Не помогали ни вода, ни мыло.

Из его разговора с тремя другими пассажирами купе стало ясно, что человек действительно работал на шахте в Адине на креплении забоев, восстающих и штолен. Это подтверждалось и тем, как он смотрел на проплывающий

мимо окон пейзаж. Человек любовался ярким солнечным светом, цветущими деревьями. Глаза его выражали удивление и сдержанную радость. Шахтер с интересом разглядывал яркие краски весны, синеву неба, коричневые пятна стогов сена, выцветшие красные черепичные крыши, темно-зеленые поля пшеницы. Он то и дело обращал внимание своих попутчиков на виды за окном вагона, будто никогда раньше не видел цветущего дерева или обыкновенной черепичной крыши. Остальные пассажиры смотрели на него с некоторым удивлением. Шахтер начал рассказывать о подземных штольнях, о том, как ему целую неделю пришлось провести в обвалившемся забое.

— Оказавшись на земле,—рассказывал он,—я заплакал. Я не ребенок и не считаю себя трусом, но тут не мог сдержать слез. Солнечный свет ослепил меня, и я сидел с закрытыми глазами, чувствуя, как солнце разогревает кровь в моих жилах...

Пассажиры смотрели на него с удивлением, смешанным с жалостью. Теперь им было понятно не совсем обычное поведение их попутчика. Все пассажиры купе, кроме шахтера, в Берзовии сделали пересадку на Решницу, и он остался один. В это время взгляд шахтера снова упал на чемодан, о котором он совсем забыл. Шахтер вышел из купе. В коридоре никого не было. Он прошел по всем вагонам, но нигде не увидел незнакомца, который исчез из купе еще в Тимишоаре. Несколько минут он стоял в коридоре перед входом в купе, посматривая оттуда через дверь на чемодан. Чемодан был среднего размера, из коричневого прессованного картона, с заржавевшими замками. Посредине его перетягивала тонкая бечевка. Видимо, замки действовали плохо, и для большей надежности владелец чемодана перевязал его.

В конце вагона показался кондуктор. Это был пожилой человек в очках, с круглым, благообразным лицом. Остановившись возле шахтера, он спросил:

— В Берзовии кто-нибудь сел в вагон?

— Нет, никто не садился.

— Вы остались в купе один?

— Да, один.

— Теперь можете располагаться как дома и спать.

— Спать я не хочу.

— Едете до Анины?

— Да.

— Можете спать спокойно, там мы будем только после обеда.

— Спать мне не хочется.

— Это верно: на том свете выспимся.

Шахтер слегка улыбнулся, потом сказал, показывая на чемодан:

— Черт его знает, чей это сундучок...

Кондуктор посмотрел на чемодан, затем спокойно ответил:

— Наверное, владелец его где-нибудь в другом вагоне болтает со знакомыми.

— Я обожегал все вагоны и нигде его не увидел.

— О черт!

— Он остался на вокзале в Тимишоаре.

— Только этого не хватало!

— Может, вы возьмете чемодан и сдадите его на станции?

— А кто знает, что там внутри? Зачем мне влезать в это дело?

— Я не знаю, что там. Не смотрел.

— Может, там ребенок, разрезанный на куски...

Шахтер задумчиво посмотрел на чемодан. Потом спросил:

— Значит, вы не хотите сдать его на станции?

— Не хочу.

— Ну что там может быть?

— Иногда впутаешься в такое дело, что потом не выпутаешься.

— Может, человек захватил в дорогу еду.

— Это бы еще ничего.

— Или пару белья.

Кондуктор не проявлял беспокойства. Говорил он скорее в шутливом тоне, явно желая показать пассажиру, что его это не волнует. Казалось, он больше боится человека, который завел разговор о чемодане. Кондуктор протер большим носовым платком очки и хотел было идти дальше, но шахтер положил ему руку на плечо и сказал:

— Давай посмотрим, что в нем.

— Да оставь ты чемодан в покое! Тебе что, нечего делать?

— И все же я открою его,—продолжал шахтер. Он взял чемодан и положил на сиденье. Кондуктор вошел в купе и прикрыл за собой дверь. Потом рукой отстранил

шахтера, нагнулся над чемоданом, развязал узел на бечевке, открыл заржавевшие замки и приподнял крышку чемодана. Пошарил рукой внутри, почувствовал жесткую, шуршащую ткань рубашек, а под ними — плотно и аккуратно уложенные пачки каких-то листов. Кондуктор откинул крышку и приподнял с одного края белье. Казалось, он что-то читает. Очки у него на носу вдруг запотели. Он быстро захлопнул крышку чемодана, прижав ее своей волосатой рукой.

— Что такое? — спросил шахтер.

— Ничего интересного, — ответил кондуктор. — Закрой чемодан и поставь его на место.

— Я тоже хочу взглянуть, что там.

— Поставь наверх, говорю.

— Что я, не имею права посмотреть?

— Ты что, слов не понимаешь?

— Я же не вор.

— Поставь чемодан наверх, а сам перейди в другое купе.

Сказав это, кондуктор вышел в коридор и пошел в противоположный конец вагона, даже ни разу не обернувшись. Шахтер же, прежде чем поставить чемодан на место, приоткрыл крышку и приподнял рубашки. На какое-то мгновение он растерялся. Потом быстрым, лихорадочным движением закрыл чемодан и поставил его наверх. Затем так же поспешно взял свой багаж, состоявший из крестьянской сумки и фанерного, окрашенного в черный цвет чемодана, и перешел в соседнее купе. Там сидели две пожилые женщины. Головы их были повязаны черными крестьянскими платками. Разморенные теплом, они посапывали. На нового попутчика взглянули с явным неудовольствием людей, которых разбудили.

Когда через четверть часа кондуктор вновь проходил по вагону, он был явно доволен тем, что шахтер перешел в другое купе. До Анины ничего особенного не произошло. Шахтер же, хотя и ехал с закрытыми глазами, на самом деле все время думал о чемодане. Незадолго до прибытия поезда в Анину он вышел в коридор и стал так, чтобы можно было видеть чемодан в соседнем купе. Вагон к этому времени почти опустел: остались только шахтер и те две женщины. Они ехали до Кэрбунари. Кондуктор, по-видимому, находился в другом вагоне. Шахтера никто не видел. Когда поезд остановился на

вокзале в Анине, он открыл дверь в бывшее свое купе и решительным движением снял с полки чемодан. Из вагона он вышел с двумя чемоданами и сумкой, перекинутой через плечо. Быстро пересек кипящий пассажирами перрон. Вдруг он заметил кондуктора. Тот будто ждал его. Кондуктор как раз прикурил и собирался потушить спичку. Какое-то мгновение шахтер колебался, но кондуктор подмигнул ему и кивнул головой, словно хотел сказать, чтобы шахтер не волновался. Его жест, по-видимому, означал, что он одобряет решение шахтера не оставлять чемодан в вагоне, а взять его с собой. Шахтер в знак благодарности за неожиданную поддержку улыбнулся.

11

Утром, когда доктор Ванчиу ехал в поезде в Тимишоару, Октавиан, усталый и голодный, сидел в скверике на небольшой площади, в центре которой находился заброшенный фонтанчик. Он еще раз был у доктора Ванчиу, но не застал его дома. Хозяйка сказала, что господин доктор уехал в Тимишоару и раньше чем через два дня не вернется. Октавиан оказался в тяжелом положении, из которого не видел выхода. Он сел на скамейку, чтобы решить, что делать. На этой площади каждый день собирались рабочие. Они ходили по дворам пилить и колоть дрова. Почти у всех у них были деревянные козлы и ручные пилы. Октавиана тоже можно было принять за дровосека.

Часов в семь на площадь пришла женщина. Она подошла к Октавиану и спросила:

— Вы не можете напилить мне дров?

Несколько удивленный, Октавиан встал и ответил:

— Могу перепилить хоть целый вагон, госпожа!

— Да что вы! У меня всего кубометра два.

— Но у меня нет ни пилы, ни топора...

— У меня дома есть и то и другое.

Октавиан пошел вслед за женщиной по пустым утренним улицам. По дороге он без особого желания отвечал на вопросы женщины и вообще избегал идти рядом с ней.

— Кажется, вы не здешний?

— Да, не здешний.

— Из Молдовы?

- Да.
- Семья-то есть?
- Никого у меня нет.
- Один сюда приехал?
- Один.
- А где же семья осталась?
- Нет у меня семьи.
- Это очень тяжело.
- Тяжело.

Вскоре центр города с его главной улицей остался позади, где-то внизу, на дне длинной, извивающейся долины. В этой части город напоминал горное итальянское село. Дома скрывались в густой зелени деревьев. Неожиданно послышался звук пастушьего рожка и мычание коров, словно в деревне. Из близлежащих дворов доносился скрип ворот: это выпускали на пастбище скот.

— В Молдове люди так же живут? — мягко спросила женщина, удивленная скупостью ответов спутника.

— Так же.

— Вот мы и пришли. Здесь я живу, — проговорила женщина, остановившись у деревянных ворот, которые составляли одно целое с домом. Два окна дома с зелеными наличниками выходили на улицу. Двора не было видно из-за большого орехового дерева, ветви которого свешивались на улицу. Женщина сильно постучала в ворота, и изнутри послышался лязг засовов. Старушонка с высухшим лицом и большими влажными глазами открыла ворота. Вошли во двор, разделенный надвое проволочным забором. За этим забором прохаживались утки и копались в песке куры. Под навесом кучей лежали буковые сучковатые дрова.

— Мария, ты спросила человека, сколько он с нас возьмет? — обратилась старушонка к женщине. Видимо, это была ее дочь. Та взглянула на мужчину, которого привела с собой, и только теперь заметила то, на что раньше не обратила никакого внимания. Она оглядела его одежду, посмотрела на заросшее черной густой бородой лицо, которое мало чем походило на лицо дровосека. Упавшим голосом Мария ответила:

— Нет, не договорила.

— Тогда спроси. Может, он запросит столько, сколько работа и не стоит.

Мария стеснялась спросить о цене и продолжала смот-

реть на незнакомца с некоторым подозрением, испытующе, но без страха.

— Заплáтите, сколько сочтете нужным,—вмешался мужчина.

— Нет, так не надо,—не успокаивалась старуха, которая хотела во что бы то ни стало установить цену заранее.

— Я же сказал: сколько сочтете нужным.

— Двадцать лей достаточно? — спросила старуха.

— Двадцать лей и обед,—добавила Мария.

Мужчина бросил на нее благодарный, но полный достоинства взгляд, от которого та смутилась. Старуха ушла под навес, и тогда, оставшись посреди двора с Октавианом, Мария осторожно, чтобы случайно не обидеть его, сказала:

— Вы не похожи на дровосека.

— Человек должен многое уметь в жизни.

Ответ этот удивил Марию: она уловила в нем оттенок грусти. Неясное чувство подсказывало ей, что подобные разговоры лучше прекратить, и она сделала вид, что ничего не поняла. Они вошли в дом. Из-под навеса послышался голос старухи:

— Идите возьмите козлы. Только они разъехались, их надо скрепить.

— Оставьте, я все сделаю,—ответил мужчина.

— Вот так всегда, когда в доме нет хозяина,—продолжала старуха.

— Ничего, я сейчас почию их.

— Моя дочь осталась вдовой, и теперь нам вдвоем трудно.

Октавиан ничего не ответил.

— И пилу нужно бы направить. Сейчас я ее принесу. А дрова, пожалуйста, поколите помельче, а то зимой придется мучиться. У нас в печках маленькие дверцы.

— Не беспокойтесь, госпожа.

— А как же вы хотите пилить дрова без пилы и топора?

— ...

— Вы не здешний?

— Я беженец из Молдовы.

— А, понятно! Проклятая война! Тысячи людей выгнала из дому. А вы ели что-нибудь?

— Нет.

— Сейчас принесу вам что-нибудь поесть.

— Спасибо.

Молодая женщина из окна смотрела, как незнакомец старается починить козлы. По его движениям было видно, что он непривычен к такой работе. Войдя в кухню, старуха отрезала ломоть хлеба, кусок копченого сала, очистила две луковицы, положила все это на тарелку и позвала Октавиана. Когда он вошел, она с оттенком гордости в голосе сказала:

— Такая наша банатская еда. Сало с хлебом и луком.

Мария стояла теперь спиной к окну, опершись о подоконник. Лицо ее было задумчивым. Высокий покатый лоб, черные как смоль волосы оттеняли ее продолговатое лицо, придавая ему оттенок грусти.

Октавиан чувствовал себя неловко оттого, что женщина продолжала настойчиво рассматривать его. У него даже выпал из рук нож. Он нагнулся, несколько раз деланно кашлянул и затем принялся есть, не отрывая взгляда от тарелки. Человек всегда чувствует себя неловко, когда на него устремлен чужой любопытный взгляд.

К полудню Октавиан перепилил все дрова и приступил к колке. Работы впереди было еще много. И хотя Октавиан был сильным, по всему телу разлилась усталость. Мария сказала ему, что работает на городской электростанции сборщиком платы за свет. Занятый своим делом, Октавиан не замечал ее, хотя она несколько раз показывалась во дворе без всякой видимой цели. Обедали все вместе на кухне. И то, чего Октавиан боялся больше всего, случилось именно за обедом.

— Вы давно в нашем городе? — спросила его Мария.

— Дней пять.

— Ну и как вам нравятся люди в наших краях?

— Хорошие люди, гостеприимные.

— Не совсем так. К нам нахлынуло с чужих мест столько народу, что люди стали всего бояться.

— Беженцам тоже нелегко. Ведь хозяйство свое они бросили, а здесь у них ничего нет.

— А где же вы устроились?

Октавиан посмотрел на Марию, и она доброжелательно улыбнулась.

— Пока твердо еще нигде не устроился...

— Сейчас трудно снять комнату,—вмешалась старуха.—Я слышала, что беженцы спят на вокзале, в парках...

Из-за этого разговора обед превратился для Октавиана в мучение. Он начал торопиться. На все вопросы отвечал коротко и уклончиво. Быстро покончив с обедом, вышел во двор и снова принялся за работу. Уже стемнело, а он все еще не кончил колоть дрова. Под навес пришла старуха и пригласила его ужинать.

— Пошли ужинать, а то уже темно. Переночуете у нас, а утром спокойно кончите работу.

Октавиан обрадовался этому предложению.

Ужин в противоположность обеду прошел в молчании. Мария сидела за столом напротив Октавиана. Подавала старуха. Октавиан ел с аппетитом, и Мария по-своему оценивала каждый его жест. Чем внимательнее она за ним наблюдала, тем сильнее в ней росла уверенность, что он никакой не дровосек. На столе стояла бутылка сливовицы, но она так и осталась непечатой. В этом отношении поведение Октавиана резко отличалось от повадок других дровосеков, которых Марии приходилось видеть.

— Не привык я к вину,—почти со смущением, но твердо сказал Октавиан.

Он ел, глядя в тарелку, и, казалось, чувствовал себя неловко из-за установившегося за столом молчания, а особенно из-за испытующего взгляда молодой женщины. Октавиан обратил внимание на то, что на ней было красивое городское платье. Острый глаз старухи заметил это.

— Что это ты так вырядилась? — спросила она дочь. Мария покраснела до корней волос.

— А как я должна сидеть за столом? Как неряха?

Глаза молодой женщины встретились со взглядом мужчины, и она слабо улыбнулась ему. Ее взгляд вызывал в Октавиане беспокойство. Мария продолжала разглядывать его то исподтишка, то открыто и даже вызывающе. Этот взгляд преследовал Октавиана и тогда, когда он встал из-за стола и вышел во двор. Под навесом он долго сидел на бревне, заложив руки за голову и радуясь тому, что может спокойно слушать шуршание ветра в листьях, сонный клекот кур, далекий лай собак...

Преподаватель румынского языка в лицее, сопровождавший доктора Ванчиу на вокзал в день прибытия санитарного поезда, был поэтом. Звали его Николае Кэтанэ.

Ему было двадцать пять лет. Он часто публиковал свои стихотворения или эссе на мелкие литературные темы в газете «Семеникул». Но, считая свою фамилию неблагозвучной, он подписывал их псевдонимом Н. Толвадия (по названию своего родного села). Кэтанэ был щедедушным. В детстве его безжалостно мучили ревматизм и малярия. С первых лет учебы в лицее он носил большие роговые очки и был очень неловок в движениях. Из-за близорукости, малярии и ревматизма его признали негодным к военной службе, и тяготы войны прошли мимо него. Его поэзия ни в коей мере не отражала драму, переживаемую человечеством в годы второй мировой войны. У него была одна из самых богатых и интересных личных библиотек во всем городе. Он просиживал в ней часами, шлифуя свои стихотворения или очерки. Николае Кэтанэ жил жизнью людей, о которых говорят, что они витают в облаках.

В газете «Семеникул» тех лет часто можно было видеть стихи за подписью «Н. Толвадия», но они проходили незамеченными, и доктор Ванчиу был почти единственным их читателем.

— У тебя есть талант,—говорил ему Ванчиу,—но ты как ребенок: нашел алмазную жилу и играешь алмазами в «орла или решку», не зная их подлинной стоимости.

Кэтанэ протирал запотевшие стекла очков и с присутствующим ему смущением отвечал:

— Я знаю только действительность поэзии, метафоры. Все, что лежит за их пределами, страдает излишней материальностью.

— Ты не замечаешь, что ходишь в рваных ботинках.

— А что я должен по-твоему делать? Денег не хватает... Покупаю книги. Вчера попалась редчайшая книга стихотворений Эминеску в издании Шарага.

— Опять тебя падул этот Моравец. Сколько ты заплатил за нее?

— Пятьсот лей.

— Ну вот, видишь. На эти деньги ты мог бы купить себе ботинки.

— У меня есть ботинки.

— Но они рваные!

— Ничего, сойдут.

На шее Кэтанэ висел сатиновый платок. По расцветке он напоминал цветок с большими черными лепестками.

Костлявое лицо Кэтанэ чем-то было похоже на лицо Паганини. Скромно, даже бедно одетый, он походил скорее на мелкого конторского служащего, чем на преподавателя лицаея. Идя по улице, он никого не видел, полностью погруженный в свои мысли. В последнее время Кэтанэ питался в столовой госпиталя. Ванчиу, видя, что друг его обедает далеко не каждый день, привел Кэтанэ в госпитальную столовую. Кэтанэ пытался протестовать:

— Псчему я должен питаться в госпитале?

— Не задавай вопросов. Приходи и обедай. Вот тебе пропуск на право входа на территорию госпиталя.

— Что, мне негде обедать?

— Я отдам тебе свои талоны.

Кэтанэ приходил в столовую, усаживался за один из столиков и ел, молча уставившись в пустоту, с видом человека, спешащего выполнить скучную и неинтересную обязанность. За короткое время его узнал весь госпиталь, и все смотрели на него с сочувствием. Часто видели, как он пишет что-то на небольших листочках бумаги. Иногда он ел, положив перед собой раскрытую книгу.

— Поэт, — говорили про него окружающие таким тоном, будто хотели этим сказать, что он страдает опасной, неизлечимой болезнью.

— Кому сегодня нужны стихи? — спрашивали люди.

Кэтанэ представления не имел о том, что говорят про него. Через некоторое время все работники госпиталя привыкли к нему, и он стал неотъемлемой частью атмосферы столовой.

Иногда в столовую спускался со второго этажа и доктор Ванчиу. Он здесь не обедал, и было видно, что он просто хочет узнать, ходит ли в столовую его друг. При виде доктора глаза у Кэтанэ загорались, он отодвигал в сторону тарелку с едой и говорил:

— Знаешь, я написал одно стихотворение. Хочешь, прочту?

— Сначала поешь, а то фасоль остынет.

— Какой же ты прозаик, дорогой Мирча!

— Ты мне прочтешь потом.

— Я приду к тебе наверх.

— Приходи. У меня как раз кончилась операция.

Кэтанэ читал свои собственные стихи очень плохо. Путался, заикался, бормотал что-то, потом начинал все сначала. И все же стихи эти производили впечатление на

Ванчиу. Возражения доктора касались главным образом социального звучания стихотворений Кэтанэ. Он говорил, что красота его стихов только выиграла бы, если бы он выразил в них ненависть к войне, веру в лучшее будущее человечества. Но Кэтанэ смотрел на друга почти испуганно.

— Ты должен понять,—говорил он,— что я не рожден для политики. Я не ставлю себе целью стать депутатом или префектом, а горячо желаю только одного — писать стихи. Политика и поэзия — два несовместимых понятия. Они взаимно исключают друг друга.

— Это неверно. Ты слышал о Кошбукке?¹

— Что за вопрос! Но он занимался литературой, а не политикой.

— А его стихотворение «Мы хотим земли»? Что это такое? Разве это не политика?

Споры друзей разгорались в кабинете Ванчиу в госпитале, но чаще всего местом их было скромное жилье Кэтанэ. Это была невзрачная комнатуха в крестьянском по виду доме. Четыре или пять тысяч книг, которые составляли библиотеку Кэтанэ, большими стопками лежали прямо на полу, поднимаясь к потемневшему от копоти деревянному потолку. Стол, стул и диван составляли всю мебель комнаты.

Кэтанэ продолжал писать стихи, яркие с точки зрения языка, но равнодушные к действительности. Сам он жил отшельником и жилье свое называл «башней из словной кости». Эта «башня» чем-то очень напоминала камеру заключения или монашескую келью.

13

Не имевший должной сноровки, Октавиан закончил работу только к полудню следующего дня. Мария, с утра ушедшая на службу, вернулась часов в десять — одиннадцать. Войдя под навес, где Октавиан колол дрова, она сказала:

— У меня есть еще одна работа, но не знаю, подойдет ли она вам.

— Что именно, госпожа?

— Нужно вскопать огород за домом. Мы хотели засадить несколько грядок салатом и перцем.

¹ Георге Кошбук (1866—1918)—румынский народный поэт

— Если у вас найдется лопата, то я не прочь.

Марии показалось, что незнакомец даже обрадовался новой работе. Днем они опять обедали все вместе на кухне. Когда Октавиан начал работать на огороде, молодая хозяйка окапывала грядки, клала в размельченную землю семена фасоли и огурцов и все время старалась поддерживать беседу. Октавиан даже не спросил, сколько ему заплатят за новую работу. Было ясно, что он не отказался бы от нее, даже если бы ему ничего не заплатили. У Марии сложилось впечатление, будто он чего-то опасается и доволен, что нашел безопасное место. Накануне вечером старуха, перед тем как лечь спать, несколько раз спросила дочь: «Дверь на кухню закрыла? Топор куда убрала? Ворота закрыла? А ставни?» Ее беспокойство вызывалось присутствием постороннего мужчины. Молодая женщина тоже волновалась, но ей было страшно думать о причине чувства, которое овладело ею теперь и которого она так давно не испытывала. Интуиция подсказывала ей, что она обязана ему помочь, хотя сама еще не знала, в чем может выразиться ее помощь. Интуиция зачастую тоньше и точнее разума. Охваченная странным чувством, Мария все же отдавала себе отчет в том, что может совершить непоправимую ошибку. Может быть, именно поэтому она и продолжала наблюдать за незнакомцем, который теперь старательно рыхлил землю, хотя движения его говорили о том, что для него это дело непривычное. «Ей ничего не стоит позвать полицию»,—вдруг пришло в голову Октавиану. В ту же секунду он бросил работу и посмотрел на Марию, но та стояла спиной к нему, и он не увидел ее лица. Октавиан тут же сказал себе, что в данных обстоятельствах это исключено. «Она женщина простая,—размышлял он,—и вряд ли имеет дела с полицией. А если бы это было не так, то еще вечером она вызвала бы двух-трех полицейских и меня взяли бы тепленького, прямо с постели». Занятый этими мыслями, Октавиан продолжал работать. Время шло к вечеру. Стало темнеть. Вдруг Мария сказала:

— Мы вскопали только половину огорода. Остальное оставим на завтра. С утра опять начнем.

После ужина, сославшись на усталость, Октавиан отправился под навес. Через несколько часов, когда весь дом погрузился в темноту, он вышел из-под навеса и, крадучись вдоль стены, добрался до ворот. Они были за-

крыты на засов. Когда Октавиан начал отодвигать его, он закрипел. Напуганный шумом, Октавиан какое-то время стоял, прижавшись спиной к воротам. Затем, убедившись, что шум никого не разбудил, шмыгнул на улицу и двинулся по направлению к центру города.

Улицы города в этот поздний час были пустынные. Лишь на одном из перекрестков послышались голоса. Октавиан остановился в каких-нибудь десяти метрах от группы людей, которых не мог разглядеть в темноте, и прислушался к их разговору.

— Ты что, с ума сошел? Не видишь, я набрался цуй¹ки¹ и никаких документов при мне нет. Если не веришь, пошли домой. Жена подтвердит, что я ее муж...

Другой человек, с которым говоривший, видимо, проводил вечер, уговаривал его:

— Говори с господами по-хорошему, ведь они с нами не пили, и если требуют документы, значит, хотят что-то проверить.

— Идемте в полицейское отделение.

— В полицейское отделение? Да еще не родился на свете человек, которому удалось бы затащить меня туда!

— Ну, хватит болтать! У нас мало времени.

Октавиан решил, что дальше идти по этой улице опасно, и решил добраться до дома Ванчиу другим путем. Но в тот самый момент, когда он повернулся, от группы споривших людей в его сторону метнулся яркий пучок света, который пересек улицу, а затем остановился на нем. В ту же секунду Октавиан закрыл глаза и бросился бежать. Послышался окрик. Человек, окликнувший Октавиана, явно был удивлен, увидев в свете лучей человека. А Октавиан тем временем бежал все быстрее. Раздался выстрел. За ним последовали еще два. Октавиан почувствовал острую боль в плече, но не замедлил бега. Про себя он повторял: «Только бы не попали в ноги!» За ним бежали два или три человека, но он имел выигрыш сотни в три метров, и дистанция эта все увеличивалась. К тому же он прибегнул к хитрости, неожиданно свернув на боковую улочку, потом еще на одну, стараясь сбить преследователей со следа, и скрылся. Наконец он очутился на улице Окна де Аур. Полицейские вслепую бежали по другим улицам, и их резкие свистки становились все менее слышными,

¹ Цуйка — румынская сливовая водка.

а потом совсем прекратились. Октавиан остановился перед домом, из которого вышел полчаса назад. Поднял щеколду и здоровым плечом толкнул дверь. Войдя во двор, закрыл за собой ворота и направился под навес. Неожиданно почувствовал, что земля у него под ногами вдруг пошла кругом...

Уже давно рассвело. Мария поднялась, оделась, взяла с собой завтрак и уже готова была отправиться на службу, но тут через окно кухни с удивлением увидела полуоткрытую дверь навеса. Ей показалось странным, что она с утра не встречалась с «дровосеком». Старуха сказала ей:

— Иди на службу. Я знаю, что надо делать. К обеду все будет сделано. Потом и рассчитаешься с ним. А что, он еще не вставал?

Мария ничего не ответила, открыла дверь кухни, спустилась по ступенькам и направилась к навесу. Она тихо позвала незнакомца, думая, что он поздно проснулся и теперь, возможно, одевается. Не получив никакого ответа, вошла под навес. Мужчина лежал на нарах лицом вверх. Одеяло натянул до самого подбородка, так что было видно только его бледное лицо. В тот момент, когда Мария открыла ворота, он посмотрел на нее как-то странно, будто ему ничего другого не оставалось, как вручить ей все: свою жизнь, судьбу. Сначала Мария ничего не поняла.

— Я думала, что вы давно поднялись и уже на огороде,—сказала она просто, без тени упрека. Однако ее по-прежнему сбивал с толку устремленный на нее взгляд, в котором можно было прочесть немой, но настойчивый крик о помощи.

— Прошу не пугаться, госпожа,—проговорил он наконец.—Прошу не поднимать шума.

— Но что случилось?—спросила она, прислоняясь спиной к деревянной стене навеса.

Было видно, что незнакомец еще не верит ей, хотя глаза его по-прежнему умоляли ее не пугаться и, самое главное, понять то, о чем он не мог рассказать.

— Вечером я босой ногой наскочил на лезвие топора и поранил ее. Рана нехорошая. Много крови вышло, но я не хотел вас будить. Подумал, что утром вы придете и все узнаете...

— Как же это могло случиться?—спросила Мария и в то же мгновение приподняла край одеяла. Этого было

достаточно, чтобы убедиться, что ноги целы и невредимы. Но простыня была в крови, и она с ужасом спросила:

— Куда вас ранило? Откуда столько крови?

Будто не слыша ее вопроса, Октавиан произнес:

— Только один человек может меня спасти. Вы должны его знать. Его зовут Мирча Ванчиу, доктор Мирча Ванчиу. Найдите его, скажите, что, если он не придет до обеда, дело может кончиться для меня плохо...

Мария хотела что-то сказать, узнать о чем-то очень важном, но Октавиан попросил ее:

— Сейчас ничего не говорите. Прошу вас, ни о чем меня не спрашивайте.

— Я сейчас же сбегаю к доктору Ванчиу. Через час он будет здесь.

Затем быстро ушла и даже забыла свою сумочку. Перед уходом она сказала матери:

— Никому не открывай дверь. Сиди на кухне, будто в доме никого нет. Я вернусь через час, а может, и быстрее.

Она выбежала на улицу и направилась к зданию военного госпиталя. Шла быстро, ни на кого не глядя, не слыша приветствий знакомых. Она была напугана случившимся, но теперь ее предположения подтвердились. И она была даже рада, что дело приняло такой оборот. Доктора Ванчиу она знала. Бывший ее муж был другом Ванчиу: они работали вместе. Теперь она окончательно убедилась в том, что незнакомец не дровосек и никакой не бродяга. Интуиция не обманула ее.

В госпитале Мария сказала, что ей нужно поговорить с доктором Ванчиу. Солдат провел ее по длинным коридорам, в которых стоял запах йодоформа, до дверей с табличкой: «Перевязочная».

— Господин доктор здесь.

На какой-то миг она заколебалась: войти без стука или постучать. Солдат подбодрил ее:

— Входите. Я же сказал, доктор здесь.

Мария нажала на медную ручку и вошла в небольшой холл, из которого через открытую дверь была видна просторная комната. Там стоял диван, покрытый желтой клеенкой, металлический шкаф с инструментами, круглый вращающийся стульчик без спинки. Ванчиу, облокотившись на подоконник, наблюдал за происходящим во внутреннем дворе госпиталя. Левой рукой он придерживал

край тонкой занавески из белого шифона и был настолько погружен в свои мысли, что не заметил, как в комнату вошла посторонняя женщина.

— Господин доктор,—начала Мария взволнованным голосом.

— Что желаете? — спросил доктор, не поворачиваясь и продолжая наблюдать за происходящим во дворе. Там несколько санитаров перекладывали с носилок в санитарную машину три трупа, покрытых белыми простынями. Доктор вот уже около десяти минут наблюдал за этой процедурой. Наконец он повернулся лицом к Марии, но не узнал ее.

— Я хочу поговорить с вами.

— Кто-нибудь из ваших родных помещен к нам в госпиталь? — спросил доктор спокойно.

— Нас никто не слышит? — ответила она вопросом, и в эту минуту доктор посмотрел на Марию с подозрением.

— Один человек серьезно болен. Он может умереть, и мне страшно подумать, что...

— Он у нас в госпитале? — повторил доктор свой вопрос.

— Дома...

— Тогда почему же вы не обратились в городскую больницу?

— Нужен хирург.

— Но хирурги есть и в городской больнице.

— Я хочу, чтобы его посмотрели именно вы.

— Я могу прийти только после работы.

— Будет поздно...

— Госпожа,—ответил доктор, сбитый с толку настойчивостью Марии,—вы должны понять, что в девять утра я вхожу в операционную и выхожу оттуда только в три часа. До тех пор я ничего не могу сделать.

Мария была в отчаянии, но ей ничего не оставалось делать, как поблагодарить доктора и направиться к выходу.

— Вы не оставили адреса,—остановил ее доктор.

— Улица Окна де Аур, тридцать пять, госпожа Мария Давидеску.

Ванчиу с удивлением посмотрел на женщину. Потом спросил:

— Вы вдова печатника?

— Да.

— Кто болен? Ваша мать?

— Нет, другой человек,—произнесла Мария дрогнувшим голосом, и Ванчиу понял, что речь идет о чем-то очень серьезном. Не вдаваясь в расспросы, доктор сказал:

— Я иду вместе с вами.

Марии показалось, что слова Ванчиу дали ей не только ответ на вопрос, с которым она пришла к доктору, но и разгадку той тайны, которая мучила ее последние два дня.

Через несколько минут пролетка госпиталя, в которой сидели Ванчиу и Мария, въехала на улицу Окна де Аур. Неожиданно полил дождь. Кучер поднял верх. Пролетка была старого, вышедшего из моды образца. В то время в городе Н. можно было встретить по крайней мере десятка три подобных экипажей. Подъехав к дому Марии, Ванчиу попросил кучера остановиться. Вместе с Марией он вошел во двор, по которому бурными потоками бежали ручьи. Пролетка повернула обратно и поехала в город. Доктор, как показалось Марии, не удивился тому, что, вместо того чтобы пригласить в дом, его повели под навес, где, как ему сказали, лежал больной. Под навесом было довольно темно, и в первый момент доктор ничего не увидел. Наконец он заметил нары и на них человека. Одеяло было натянуто до самого подбородка, казалось, человек находится в обмороке или даже умер. Мария сдавленным голосом воскликнула:

— Господин доктор, он умер!

— Нет, не умер,—прошептал доктор, положив руку на лоб раненого. Он не сразу узнал в нем человека, который приходил к нему и спрашивал, не лечит ли он по методу доктора Аберфельда, но, нагнувшись к больному, вдруг замер от удивления.

— Как он сюда попал?

— Позавчера я увидела его на площади и пригласила пилить дрова. Думала, что он такой же дровосек, как и другие.

Доктор тем временем отбросил одеяло и увидел рану в плече, которая была закрыта куском рубашки. Мария в ужасе отвернулась, но продолжала рассказывать. Упомянула и о том, что человек, вначале принятый ею за дровосека, настойчиво просил ее не обращаться за помощью ни к кому другому, кроме доктора Мирчи Ванчиу.

— Он сказал,—добавила женщина,—что вы обязательно придете.

— Я пришел... я здесь,—проговорил Ванчиу, обращаясь скорее к раненому, лежавшему на досках.

После беглого осмотра Ванчиу тоном, не допускавшим возражений, сказал:

— Его нужно быстро перенести в дом, и потом мне нужна тишина. А ворота должны быть закрыты.

— К нам никто не приходит,—ответила Мария и дала доктору понять, что некоторые люди (в том числе и сам Ванчиу) могут верить ей.

Они перенесли раненого в дом. Двор дома был окружен кирпичным забором и затенен листвой двух огромных ореховых деревьев. Весенний ливень кончился. Воздух был чистым и прозрачным. Раненого уложили на диван в большой комнате. То, что последовало за этим, конечно, содержало элементы риска, но другого выхода не было. Раненого нельзя было поместить ни в городскую больницу, ни в военный госпиталь и ни в какое другое место, кроме этой комнаты, которая на час или два должна была превратиться в операционную. Доктор Ванчиу молча приступил к работе. Промыл и прочистил пулевую рану в плече и, не переставая уговаривать раненого не стонать и лежать спокойно, стал тонким и длинным пинцетом искать пулю. Она остановилась где-то во внутренних тканях, не затронув какого-либо жизненно важного органа, но в подобных условиях операция по ее нахождению и извлечению была очень болезненной. Раненый, чтобы не стонать, крепко сжал зубы, но доктор продолжал твердить: «Не стони, пожалуйста. Лежи спокойно, не двигайся». Кровь пошла снова, и Ванчиу с трудом остановил ее. Затем он извлек пулю и перебинтовал рану. Операция прошла успешно. Моя руки в эмалированном тазу, Ванчиу говорил Марии:

— Через несколько дней мы, может быть, перенесем его в другое место, но пока его нельзя трогать. Было бы хорошо, если бы к вам никто не приходил. Никто. Это очень важно, и я прошу вас не забывать об этом. Я еще зайду к вам вечером между восемью и девятью часами. Постучу три раза в ставни правого окна. О случившемся никому не говорите. Предупредите об этом и вашу мать.

— Я все поняла,—ответила Мария.—Когда был жив муж, мне приходилось иметь дело с этим.

— Хорошо. Значит, договорились. Между восемью и девятью я постучу три раза в ставни. Тогда увидим, что делать дальше...

14

В дом, где жил доктор Ванчиу, в комнатуху в глубине двора рядом с конюшней и навесом, которая раньше использовалась как склад, переехала семья эвакуированного военфельдшера из госпиталя. Звали его Димитру Кишкэ. Родом он был из Ясс. По характеру мягок, как теплый хлеб, и застенчив, как девушка. Форма подофицера-медика явно не гармонировала с его добродушием. Он был низкого роста, с редкими черными усами. Руки маленькие, с длинными и тонкими, как у пианиста, пальцами. У военфельдшера была жена и дочь — студентка второго курса медицинского факультета Бухарестского университета. Теперь все трое разместились в бедно обставленной комнатухе. В ней стояли три железные с ободранной эмалью кровати военного образца, тумбочка, металлический умывальник и шкаф. Здесь всегда пахло лазаретом, и этот резкий, специфический запах как бы связывал госпиталь с жильем военфельдшера. В связи с военной обстановкой учеба в университете была приостановлена, и поэтому его дочь Елена поступила сестрой в госпиталь, где работали ее отец и доктор Ванчиу. Фактически именно доктор Ванчиу и привел их в эту комнатуху в глубине двора вопреки сопротивлению быстро сдавшейся тети Веты. Позже, привыкнув к новым жильцам и сдружившись с женой военфельдшера, Вета была даже довольна тем, что ей попались такие порядочные постояльцы. Она начала на все лады расхваливать доктора своим новым постояльцам с настойчивостью и искусством профессиональной свахи.

Ванчиу познакомился с отцом Елены в день прибытия в город санитарного поезда. Тогда Ванчиу оборудовал хирургическое отделение. Военфельдшер работал в этом же отделении. Тщедушный и слабый с виду, он был, однако, полон энергии. Почти исключительно ему одному принадлежала заслуга в том, что хирургическое отделение, в сущности самое важное в военном госпитале, первым встало на ноги. Он работал с энтузиазмом. Это с самого

начала привлекло внимание доктора Ванчиу, и он был рад иметь такого подчиненного. На следующий день, когда в город прибыла семья военфельдшера, Ванчиу случайно обнаружил, что они живут в отгороженном одеялами углу коридора лица. Тогда-то Ванчиу и привел их в дом, в котором жил сам. Так они стали соседями. Дочь военфельдшера работала сестрой в третьем медицинском отделении. Она делала перевязки, уколы, писала открытки родственникам раненых, у которых были ампутированы руки, читала им книги, украшала палаты цветами из сада тети Веты. В белом халате, с подоткнутыми под пилотку волосами, светлая и гибкая, она казалась даже красивой. У нее вошло в привычку уезжать на работу и возвращаться домой в пролетке, предоставленной в распоряжение доктора Ванчиу. Елена садилась рядом с доктором и каждый раз волновалась, как волнуются девушки, отправляющиеся на свой первый бал. Глядя на них, тетя Вета звала мать Елены и радостно говорила ей:

— Мадам Генриет, ты видела наших молодых?

— Нет, не видела.

— Только что уехала пролетка, посланная за доктором Ванчиу.

— Ну и что?

— Госпожа Елена уехала с доктором. Приятно видеть их вместе!

Мать Елены обычно молчала, но, как и все матери в мире, думала о будущем своей дочери. Мысль о докторе Ванчиу как женихе казалась ей естественной, но нереальной. Как-то ей пришло в голову, что намеки хозяйки могли исходить от самого доктора, и она пригласила его на обед. Фактически это был общий обед за большим столом позади дома в тени деревьев.

Доктор Ванчиу, оказавшийся в центре внимания, как раз меньше всего думал о женитьбе. Он был неразговорчив, за столом долгие минуты мог сидеть задумавшись, с зажженной сигаретой между пальцев. На вопросы отвечал с опозданием и односложно.

— Знаешь, он влюблен в твою дочь,—говорила Вета матери Елены, когда они мыли посуду после обеда.

— Ах, госпожа Вета, что зря говорить об этом!

— А почему бы и не говорить?

— Разве доктор станет смотреть на дочь бедного под-
офицера?

- Ты не знаешь господина Мирчу!
- Он из другого теста. Не такой, как мы.
- Вот и ошибаешься.
- Нет, не ошибаюсь.
- Знаешь, кем был его отец?
- Нет.
- Он был рабочим на железной дороге.
- Ну и что? Сам-то он стал доктором!
- Оставь, я его знаю, как собственного сына.

Какое-то время все оставалось в стадии ожидания и бесед между хозяйкой, которая не переставала расхваливать доктора Ванчиу, и госпожой Генриет. Но и они говорили об этом лишь как о возможности и не пытались дать делу практический ход. Ванчиу не имел обо всем этом ни малейшего представления, и намеки тети Веты проходили мимо его ушей. Хозяйка говорила ему, что жизнь нужно строить по-иному, что счастье человека не только в книгах и работе, что человек, особенно молодой, с хорошим положением, не должен жить в одиночестве. Ванчиу слушал ее, а мысли его были далеко, и он долго не понимал, куда клонит тетя Вета. Позднее, когда тетя Вета оставила намеки и объяснила ему прямо, о чем идет речь, он испуганно посмотрел на нее. Правда, он тут же успокоился, но несколько дней был взбудоражен.

На следующее утро он проснулся раньше обычного и отправился в госпиталь пешком, не дожидаясь пролетки. Когда пролетка подъехала и остановилась напротив дома, в нее села только Елена. Она чувствовала себя очень неловко. На обратном пути Ванчиу путано объяснил ей, что их поездки в пролетке стали бросаться в глаза и что в доме начали поговаривать о свадьбе. Он же в связи с этим чувствует себя неловко, и не столько из-за себя, сколько из-за нее: ведь она намного моложе его, почти еще девочка, и репутация ее может пострадать.

Елена застыла, словно окаменев. Потом, ничего не говоря солдату-вознице, прыгнула на полном ходу и побежала в сторону городского сада.

Ванчиу попросил возницу остановиться, сошел с пролетки и двинулся по направлению к городскому саду. Елена уже была в саду. Она шла не оглядываясь, потом села на скамейку неподалеку от памятника Эминеску. Ванчиу сел рядом с ней. Через несколько минут он произнес:

— Я не хотел обидеть тебя, госпожа Елена.

До сих пор он называл ее просто Еленой. Сейчас же эта форма вежливости позволяла ему сохранить между ним и Еленой известное расстояние.

— Что мы знаем друг о друге?—продолжал он. — Ничего. Или почти ничего. Может, в душе у меня есть тайна, и я никоим образом не могу взять на себя ответственность...

Елена слушала его с видом ребенка, который со страхом ждет, что его сейчас накажут.

— Мне хочется, чтобы ты правильно поняла меня.

— Прошу тебя, не надо...

— Хорошо, — согласился Ванчиу, напуганный ее бледностью.

— Может, вы думаете, что мы дома уже обсуждали этот вопрос? На самом деле никто даже не заговаривал об этом...

— Мне это и в голову не приходило,—защищался Мирча.

С серьезностью рано повзрослевших девушек Елена сказала:

— На нас навалилось столько забот, что я даже забыла о том, что могу выйти замуж. Мы ведь уехали из Ясс, не взяв с собой даже иголки. И сейчас живем в убогой комнатухе. В Бухаресте я попала под бомбежку, и с меня этого достаточно. Я думаю только о том, чтобы скорее кончилась эта война и чтобы можно было вернуться в Бухарест. Вы ведь не знаете, что у меня была сестра, старше меня. Она была замужем за торговым служащим — евреем. В тысяча девятьсот сороковом году ее расстреляли вместе с мужем. Они сидели за столом и обедали. В дом ворвались legionеры и хотели увести с собой мужа сестры. Она встала между мужем и жандармами. Умоляла не трогать его. Их застрелили обоих. Она была беременна. Ребенок пережил ее на несколько секунд. Это страшно. И каждый раз, когда я вспоминаю об этом, чувствую, что начинаю сходить с ума.

Елена не плакала. Видно, сердце ее окаменело, как это бывает только у людей, близко видевших смерть.

Они поднялись со скамейки и вышли из сада. Возница терпеливо ждал их.

— Ну, поехали,—как ни в чем не бывало сказал Ванчиу.—Видишь, нас ждут.

Елена молча поднялась в пролетку.

Через несколько дней после этого, во время воздушной тревоги доктор с Еленой, тетя Вета и мать Елены пошли в сад. Зенитные батареи на берегу Решицы вели бешеный огонь. Тетя Вета и мать Елены взволнованно говорили о чем-то, напуганные стрельбой зениток. Ванчиу и Елена сидели на шерстяном одеяле под деревом. Был конец мая, и высокое звездное небо охватывало огромным сводом погрузившийся в темноту город. Сирена воздушной тревоги, установленная на крыше административного здания, пронзительно ревела, и расположенный в долине город застыл в молчании. Елена была спокойна, даже безразлична ко всему, и Ванчиу вздрогнул, когда она произнесла:

— Вы, может быть, думаете, что я храбрая? Если бы вы знали, как мне сейчас страшно! Может, мы умрем сейчас или через минуту. Вот мы говорим, думаем, строим планы, а через несколько мгновений будем мертвы...

Ванчиу неожиданно спросил Елену:

— Ты когда-нибудь любила?

Напуганная этим вопросом, Елена с явной иронией в голосе сказала:

— Еще будет время ответить на этот вопрос. Кажется, эту ночь мы переживем.

После этих слов она поднялась.

— Ты куда, Ленуца? — услышал доктор голос матери Елены, но вопрос остался без ответа...

15

— Когда доктор Ванчиу не признал меня, казалось, что все пропало. До этого я ни разу в жизни не попадал в подобное положение. Я смотрел на прохожих, стараясь прочесть по лицам, кто может стать мне другом и товарищем, но все они окружили себя защитной оболочкой. Потом ты позвала меня пилить дрова, думая, что я поденный рабочий...

Так говорил Октавиан Дамшу Марии Давидеску дней через десять после ранения. Он еще окончательно не выздоровел, но уже начал проводить работу, для которой был направлен партией в город Н. Теперь связь с Ванчиу была восстановлена, но решили, что Октавиан и дальше

останется в доме Марии Давидеску. В доме имелся небольшой подвал, куда можно было попасть через замаскированный лаз, скрытый под ковром; на ковре стояли стол и два стула. Мария показала Октавиану дверцу, закрывающую подвал, и сказала:

— Если придет полиция, спустишься сюда, и никто не найдет тебя.

Пока мужа Марии не мобилизовали, у них в доме был установлен подпольный печатный станок. В течение трех или четырех лет до ухода мужа в армию не было ни одного инцидента, ни единого провала. Обеспечению такой совершенной конспирации содействовала и Мария. Ее дом был вне всякого подозрения. Человек очень мягкий и тактичный, ее муж не привлекал к себе лишнего внимания. После его смерти этот дом сохранялся как резервная конспиративная квартира, и вот теперь представился случай снова использовать ее.

После операции состояние Октавиана резко ухудшилось. Несмотря на все меры предосторожности, начался сепсис, и в течение восьми дней доктор Ванчиу боролся за жизнь раненого. Дело дошло до того, что Ванчиу уже решил было поместить Октавиана под другим именем в военный госпиталь. Но крепкий организм и сильная воля помогли Октавиану преодолеть критический период, и необходимость помещения в госпиталь, связанная с большим риском, отпала.

Состояние раненого стало улучшаться на глазах, и если первое время, возможно, из-за высокой температуры, он все время лежал с грустным лицом, то теперь в его глазах можно было прочесть большое желание жить и работать. Постепенно Октавиан стал проникаться атмосферой этого дома, которую создают подчас незначительные детали, отличающие один дом от другого. Днем ставни обоих окон были открыты, но из-за толстых крестьянских занавесок солнце освещало комнату желтоватым, каким-то медовым светом. В комнате стоял старый диван, двуспальная крестьянская кровать с высокими спинками, платяной шкаф и висела полка, до отказа забитая книгами. Над кроватью висел выполненный углем семейный портрет. Из рамы смотрели худощавый мужчина и женщина с большими удивленными глазами. Мужчина — бывший муж Марии Давидеску, а молодая женщина — Мария. Этот портрет — немое напоминание о пережитой

драме — был, пожалуй, самой грустной вещью в доме. Книжки напоминали о мечте скромного и очень трудолюбивого человека познакомиться с самыми сокровенными тайнами жизни.

Мария была очень начитанна для скромной служащей электростанции провинциального городка. Октавиан быстро заметил это. Свидетельством тому была глубина и серьезность взглядов, высказываемых Марией.

Вела она себя так, будто снова обрела что-то такое, чем очень дорожила и ни за что не хотела вновь утратить. Она без устали хлопотала по дому, заполняя день разными большими и мелкими заботами. То она стряпала на кухне, то протирала влажной тряпкой мебель, то бежала по просьбе Октавиана за газетами и журналами. Приходя из города, рассказывала Октавиану городские новости, вводила его в атмосферу жизни города после прибытия большого количества переселенцев из прифронтовой полосы и из Бухареста, рассказывала о настроениях людей. Вначале она избегала давать свои личные комментарии событиям, но Октавиан выслушивал ее, а потом спрашивал: «А что ты сама думаешь об этом?» Как-то он сказал, что она, по существу, ведет партийную работу и не должна ни на минуту забывать об этом.

— А что я делаю? — Мария не ожидала такой похвалы. — Покупаю газеты и журналы в киоске и рассказываю вам, что вижу в городе? Вот если бы мне поручили сунуть сотню листовок в сотню почтовых ящиков или если бы я сама печатала листовки, тогда другое дело. Пока я не заслужила такой похвалы.

Как-то Мария призналась Октавиану:

— Когда мой муж получил повестку о мобилизации, я посоветовала ему не подчиняться и потребовать, чтобы партия перевела его на нелегальное положение. Но он намекнул мне, что и в армии нужно вести большую разъяснительную работу. Не знаю почему, но меня все время мучил страх, что он не вернется. И опасения мои подтвердились. В скором времени я получила официальное извещение о его смерти. После этого мне пришлось пережить тяжелое и смутное время. Ведь фактически я не имела с партией никакой связи. Меня не посвящали ни в какие дела, и только сказали, чтобы я не проронила ни слова о том, что происходит в нашем доме. Иногда мне приходила в голову мысль самой попытаться установить

связь с партией и предложить, чтобы мой дом и в дальнейшем использовать для нужд партии, но, по правде говоря, из-за одного столь же опасного, сколь и досадного происшествия я стала бояться даже собственной тени. Накануне отъезда моего мужа в воинскую часть печатный станок был переправлен в другое место. Муж уехал, а через несколько недель пришел человек, который, как я знала, имел на вокзале табачный и газетный киоски. До этого я ни разу не говорила с ним, хотя знала, чем он занимается. Он производил впечатление человека порядочного, обязательного, но стесняющегося того, что должен был сказать мне. «Госпожа Давидеску,—начал он с таинственным видом,— я работал вместе с вашим мужем... Не знаю, говорил ли он вам об этом...»

Было очевидно, что он старается быть как можно более естественным, чтобы не вспугнуть меня и не вызвать каких-либо подозрений. Но поведение его могло заставить задуматься самого неискушенного в таких делах человека. Он вел себя как актер, который, в совершенстве заучив роль сложной, с многообразными душевными движениями натуры, растерялся при выходе на сцену и именно в результате прилагаемых усилий играть свою роль как можно естественнее допускал явную фальшь. Он напомнил мне, что мой муж был печатником и благодаря этому своему качеству выполнял весьма опасную работу.

Я тут же вспомнила, что говорил мне муж: «Кто бы ни пришел и не стал спрашивать о моей работе, ты ничего не знаешь. Ты ничего не видела и не слышала».

Нежданному посетителю я ответила так:

— Не понимаю, о чем вы говорите. Я не знаю, где вы работали вместе с моим мужем.

— Мне трудно вам объяснить, да я и не имею права говорить...

— Может, он вам остался должен?

— Нет, речь совсем о другом...

Я заметила, что он старается подбирать слова.

— Я работал с ним в одном деле, о котором не могу говорить, потому что боюсь, как бы кто не пронюхал об этом. Печатали мы кое-что... вместе работали, и сейчас меня послали взять оставшиеся после него материалы.

В этот момент я поняла, что человек этот — агент, который ничего общего не имел с партийной организацией и не знал, что станок переправили в другое место.

Мне было ужасно страшно, но я провела его в дом и показала сундучок, который мне переслали из части:

— Вот все, что осталось от него.

Я открыла крышку сундучка. Там все лежало в таком виде, как мне прислали. Незнакомец от удивления вытаращил глаза. Видно было, что показанные вещи его не удовлетворили.

— Не об этом речь, а о типографии.

— Сходите к господину адвокату Ливиусу Косме. Он является хозяином типографии. Мой муж работал у него.

— Вы меня не понимаете, госпожа. Может, я не ясно выразился... Ваш муж принес кое-какие материалы из типографии, он взял их оттуда.

— Мой муж не был вором!

— Да я и не хотел этого сказать...

— Мой муж не унес с работы ни клочка бумаги!

Он ушел, убежденный в том, что я глупа и ничего не знаю о работе мужа. Может быть, мужа только подозревали, но не имели против него никаких конкретных доказательств. С тех пор меня никто не беспокоил, но в душе у меня поселился страх. Правда, раз или два я встретила Партение Копэчана. Потом как-то встретила доктора Ванчиу. Они справились о моем здоровье, о том, как я живу, но я подумала, что эти вопросы задаются мне лишь из вежливости. Я начала жить в трусливом одиночестве, которого сейчас сама стыжусь. Мне стыдно, что я не осмелилась жить по-настоящему полной жизнью. Даже перед лицом войны с ее несчастьями, которые ударили по мне с полной силой, я вела себя как провинциальная обывательница, недовольная тем, что не хватает сахара, муки, подсолнечного масла и перца. Иногда в булочной я затевала спор с какой-нибудь надменной госпожой, другой раз изливала свое горе на углу улицы перед соседками, которые стояли, уперев руки в бока. Иногда вечерами с плачем валилась на кровать, сама не зная отчего смачиваю подушку слезами. Ты сам видел мои обычные заботы.

...В прошлом году на мне хотел жениться один служащий — бухгалтер из примарии. Сначала я не понимала, куда он клонит. Я постоянно ему отказывала — и когда он приглашал меня выпить стакан вина в городском саду, и когда звал меня пойти в кино или прогуляться по парку. Все это мне казалось никчемным, прямым следствием той пустой жизни, которую я вела и из которой не видела ни-

какого выхода. А однажды он пришел ко мне домой. Мать тоже была дома, и он изо всех сил старался склонить ее на свою сторону, приобрести в ее лице надежного и важного союзника. «Видите, госпожа,—говорил он, обращаясь к ней,—здесь нужен мужчина, который починил бы навес, сменил бы драночную крышу на железную, завел бы небольшое, но крепкое хозяйство с собственным поросенком в загоне, двумя десятками кур в курятнике и несколькими мешками муки в подвале. Лучшей жены, чем ваша дочь, я и не представляю. На книжке у меня тысяча двадцать лей...»

Я оставила его морочить голову матери, а сама ушла в город. Потом он понял, что его мечты неосуществимы, и оставил меня в покое. Ты помог мне понять смысл жизни. С тех пор, как ты появился в нашем доме, я чувствую себя совсем по-иному...

Подобные беседы, длившиеся часами, наполняли душу Октавиана неожиданной приподнятостью. После этих бесед Октавиан, когда он оставался один в комнате, чувствовал какое-то непонятное беспокойство, которое гнало прочь сон. Целыми часами он лежал, погрузившись в раздумье. Его страданиям, связанным с ранением, пришел конец, но Мария по-прежнему была заботливой медицинской сестрой. Она следила за тем, чтобы в доме у нее было все необходимое, беспокоилась, не мучает ли Октавиана боль, и старалась, чтобы он чувствовал себя как дома. Уже не было никаких оснований для тревоги, но с лица Марии не сходило выражение озабоченности тем, как бы не случилось чего-нибудь непредвиденного. Она постоянно проверяла, выполняет ли Октавиан предписания доктора Ванчиу и принимает ли он лекарства. Но эта заботливость Марии сбивала Октавиана с толку и в душе даже стесняла его.

Мария же почти с детской гордостью заявила однажды Октавиану:

— Я буду защищать тебя от любой опасности, как львица, окруженная стайей кровожадных охотников, защищает своего детеныша.

Октавиан в первый момент растерялся, не знал, что ответить, тем более что это заявление никак не было подготовлено и застало его врасплох,

Но когда Мария почти на двое суток по просьбе Октавиана уехала в Бокша-Монтану за его багажом, который из Тимишоары был доставлен туда с целью отвлечь внимание полиции, он неожиданно для себя остро почувствовал ее отсутствие. В доме вдруг стало тоскливо. Мать Марии подавала Октавиану обед в комнату, как и обычно. Все было спокойно, но отсутствие Марии Октавиан чувствовал все это время. Его необъяснимое беспокойство росло с каждым часом. Вечером он лег раньше обычного, надеясь, что сон избавит его от этого состояния, но не смог уснуть и всю ночь бодрствовал, устремив взгляд в освещенный луной потолок и напряженно вслушиваясь в тишину. Мария вернулась в восемь утра. Октавиан сразу успокоился и ничего не сказал ей о бессонной ночи и о том, какие мысли мучили его все это время.

16

Лицей организовал экскурсию в Анину с разрешением, добиться которого было очень трудно, посетить не только наземные, но и подземные работы. Кэтанэ еще ни разу не был в Адине и готовился к экскурсии с серьезностью ребенка, собирающегося в дальнее путешествие. «Я спущусь в ад Данте», — сказал он доктору Ванчиу. Экскурсию, в которой участвовало около сотни учеников старшего курса лицея, сопровождали три преподавателя. Это была обычная экскурсия с учебной целью, включенная в программу обучения и имеющая целью расширить знания учеников в области ботаники, геологии, географии и истории. Ученикам предстояло увидеть, как залегает уголь в подземных пластах, шахтерскую лампу, шахтный колодезь для спуска людей, вагонетку, в которой откатывают уголь, и забой. За исключением нескольких сынков богатей, которые нагрузились рюкзаками, термосами, фотоаппаратами, остальные ученики пришли лишь с бутербродами. Да и Кэтанэ не был похож на туриста. Еду на дорогу он завернул в газету и вручил одному из учеников. В поезде сидел у окна, полностью захваченный дикой красотой мест, мимо которых они проезжали. Ученики же вокруг него смеялись, шутили, пели песни.

Был воскресный день. Поезд прибыл в Анину в половине девятого утра. Выйдя из вагонов, ученики постро-

лись и двинулись по направлению к конторе шахты. Преподаватели, в том числе и Кэтанэ, шли позади колонны.

Во дворе шахты колонна остановилась и разделилась на группы, ожидая, пока преподаватели сообщат начальству шахты о прибытии экскурсантов. Внимание учеников тем временем привлекла необычная сцена, за которой они сначала наблюдали с веселым видом, но потом их лица приняли серьезное выражение. Перед мрачным зданием, стены и крыша которого были покрыты толстым слоем угольной пыли, в угрожающей позе стояли два жандарма. Они охраняли оба входа в здание. Казалось, они поставлены там, чтобы никого не пускать в здание, но никто и не пытался туда войти, и можно было подумать, что жандармы с молчаливым, решительным и агрессивным видом стояли здесь напрасно. Но через открытые окна нижнего этажа во двор летели большие желтые комья. За сравнительно короткое время пространство перед открытыми окнами покрылось желтыми комьями. Жандармы смотрели на этот дождь комьев с безразличием. Из здания доносились угрожающие выкрики. В окнах появлялись и исчезали почерневшие от угольной пыли головы. Желтые комья продолжали падать во двор.

— Забавляются, — сказал один из экскурсантов.

— Бросают куски мамалыги, — заметил другой.

— Да, мамалыга! — воскликнул кто-то, развеселившись при виде этой картины. Но в следующее мгновение из расположенного рядом здания появились преподаватели в сопровождении нескольких служащих шахты и жандармского капитана. Все они направились к экскурсантам. Служащие и жандармы, казалось, были неприятно поражены тем, что ученики находились во дворе шахты, а преподавателей явно покорила негостеприимная встреча.

— Вы должны были позвонить заранее!

— Но мы же заблаговременно договорились, что приедем сегодня. Вы видели разрешение дирекции из Решицы?

— Просим вас, не настаивайте.

— Но это же значит, что экскурсия сорвана.

— У нас и без вас забот хватает, господа. Нам только и не хватает, как думать о вашей экскурсии. Разве вы сами не видите?

Жандармский капитан остановился перед учениками и, став спиной к открытым окнам здания, приказал:

— А ну, быстро со двора! Прошу очистить двор!

Затем офицер повернулся к зданию и диким голосом заорал:

— Закройте окна! Закройте окна, а то прикажу стрелять в вас, бандиты!

Теперь ученикам стало ясно, что бомбардировка комьями мамалыги была не игрой, а чем-то очень серьезным, смысла и значения чего они не могли понять. Подталкиваемые служащими и преподавателями, ученики покинули двор. Но понадобилось еще минут десять, прежде чем их удалось снова построить.

— Это мятеж по всем правилам,—заметил один из преподавателей.

— Они правы, если им дают мамалыгу из отрубей. Посмотри!

Кто-то из преподавателей показал коллегам кусок мамалыги. Потом бросил его и заключил:

— Такое и свиньи есть не будут!

По дороге к вокзалу экскурсантов ждал еще один сюрприз: мимо них прошла группа шахтеров, которые несли трое носилок. Перепачканные грязью и запекшейся кровью одеяла покрывали тела троих рабочих.

— Что случилось? — спросил один из преподавателей.

— Несчастный случай,—ответил один из рабочих, неслих носилки и торопившихся скорее добраться до больницы.

За носилками двигалась толпа женщин и стариков. Они взволнованно говорили:

— На десятом горизонте произошел взрыв.

— Опять взрыв!

— Ох, что за проклятая шахта! Что ни день, гибнут в ней люди.

Потом колонну обогнала женщина с растрепанными волосами. Она колотила себя кулаками по голове и иступленно кричала:

— Мой муж! Убили моего мужа!

Кто-то сказал ей, что ее муж не умер, что его несут в больницу, но она продолжала причитать:

— Мой муж! Убили моего мужа! Чтоб провалилась эта шахта!

Оба происшествия произвели глубокое впечатление

на учеников. В вагоны они сели напуганные и обескураженные.

Целый час до отхода поезда ученики со страхом смотрели в сторону холмов, под которыми, как они предполагали, тянулись штольни угольной шахты.

Вернувшись в город и встретившись с Ванчиу, Кэтанэ рассказал ему обо всем, что видел и слышал в Анине.

— Видишь? — сказал ему Ванчиу с упреком. — Жизнь так тяжела и ужасна, а ты воспеваешь только цветочки, луну и созвездие Большой Медведицы,

Кэтанэ обхватил голову руками.

17

Ливиус Косма был владельцем и директором местной газеты «Семеникул» и акционером Решицких заводов. Ему было немногим больше сорока лет, но он уже успел быть депутатом зимой 1937 года. Депутатом он стал в результате выборов, предшествовавших установлению диктатуры короля Карола. Правда, его депутатская карьера длилась всего лишь несколько дней, то есть до роспуска парламента. Сам Ливиус Косма был избран депутатом, а отец его, Антон Косма, — сенатором. С 1919 по 1921 год Антон Косма занимал пост министра по делам Баната и в качестве члена румынской делегации принимал участие в работе Парижской мирной конференции после первой мировой войны. Тогда рассказывали много компрометирующего о его поведении в 1919 году в Париже. Но Антон Косма на все обвинения неизменно с загадочным видом отвечал:

— Не знаю. Поживем — увидим.

После двух лет работы в министерстве он стал одним из самых богатых людей провинции — владельцем восьмисот гектаров земли в Амарадии, акционером металлургических заводов в Топлеце, собственником курорта Бэиле Липова, лесного массива в Алмэже и владельцем акций Тимишоарского банка, контролировавшего многие заводы и фабрики в Араде, Лугоже и Тимишоаре.

В феврале 1944 года ему исполнилось семьдесят лет. Он высох и стал сутулым, но по-прежнему был краснощеким и веселым, будто готовился начать еще одну жизнь. Ему нельзя было отказать в наличии практического ума,

доказательством чего служило огромное состояние, которое он сколотил, не считаясь ни с чем, загребая обеими руками, «потом на лбу и мозолями на перчатках», как он любил выражаться. В то время он жил в основном в Амарадии, в бывшем замке графа Немеша Немзета Богдани-фи Шафрани. В 1919 году в результате умело проведенной операции этот замок стал его собственностью.

Если теперь старик жил уединенно, как отшельник, в поместье в Амарадии, то его сын, Ливиус Косма, с успехом играл роль ширмы и запасной фигуры. По требованию младшего Космы в 1941 году его призвали в армию и послали на фронт в качестве лейтенанта артиллерии. Через два месяца он был демобилизован и вернулся в город Н. кавалером орденов Железного креста со шпагой и Михаила Храброго третьего класса. Он носил планки этих двух орденов со старательностью гражданского человека — новичка в военных вопросах. До марта 1943 года его часто можно было видеть за одним из столиков в «Золотом петушке», где он разглагольствовал о перипетиях «молниеносной войны». Его военно-стратегические рассуждения звучали так, будто фюрер ничего другого и не делал, как претворял в жизнь идеи этого гения, лишь по воле случая оставшегося лейтенантом артиллерии в запасе.

— Что я вам говорил позавчера за обедом? — кричал он. — Помните, что я говорил? Вермахт, несомненно, будет наступать в направлении Орла, его армии образуют огромные клещи, которые зажмут русские дивизии на этом участке фронта.

Однако вскоре этим разглагольствованиям пришел конец. Ливиус Косма перестал носить в петлице сначала планку Железного креста, затем и планку Михаила Храброго. Теперь он перестал говорить о «молниеносной войне», довольствуясь положением обыкновенного потребителя порций рома. Кофе он приносил из дому, так как терпеть не мог эрзаца, приготовленного из гороха и цикория. С притворной скромностью он извлекал из кармана металлическую коробочку размером с тюбик зубной пасты, отвинчивал пробку и, насыпав в ложечку настоящего кофе, вручал ее старшему официанту вместе с кучей советов и указаний:

— Кофе должен быть горьким и крепким. Его нужно

трижды вскипятить в медном чайнике без помешивания ложечкой. Пенку снять.

От военных теорий он перешел к рецептам приготовления кофе по-турецки. Ливиус Косма был вдовцом. Со своей женой разошелся в 1940 году, после того как она внезапно заболела какой-то странной нервной болезнью.

Став владельцем машины «вандерер» со съемным верхом, он совершал частые поездки не только в Амарадия, но и в Тимишоару, и в Бухарест. Дела его шли хорошо. Выглядел он так, словно ему было лет двадцать. Однако первые седины на висках говорили о том, что молодость медленно, но верно уходила.

Начиная с весны 1944 года он перестал быть апологетом гитлеровской войны. Он очутился на факультете права в Бухаресте, затем в Париже и готовился к политической карьере, которая началась, однако, под несчастливой звездой, как раз накануне роспуска всех буржуазных политических партий в 1937 году. Как говорил отец Ливиуса Космы, самый близкий его советник, все, казалось, должно было идти как по маслу. В декабре 1937 года национал-цэранистская партия заключила избирательное соглашение с Железной гвардией. В Караше — давнишней крепости партии Брэтиану¹ — соглашение цэранистов с легионерами принесло хорошие результаты обеим «историческим» партиям, выступавшим в союзе против либералов. Кандидаты, внесенные в список (Ливиус Косма — адвокат от цэранистов и Николае Модорча — адвокат от легионеров), победили на выборах либерального кандидата Патриция Мынекутзу, тоже адвоката. Только что приобретенный союзник Ливиуса Космы и его бывший коллега по факультету права в Бухаресте — Николае Модорча позднее, в сентябре 1940 года, стал заместителем директора главного полицейского управления, но в январе 1941 года бежал в Германию, скрывшись в машине высокопоставленного офицера вермахта. Мало кто знает, что в период с 1940 по январь 1941 года адвокат Николае Модорча имел много тайных встреч со своим бывшим союзником по выборам 1937 года.

¹ Брэтиану Ион — лидер буржуазной национал-либеральной партии. Национал-либеральная партия в течение многих лет, сменяясь с национал-цэранистской партией, была правящей партией в буржуазно-помещичьей Румынии. Поэтому эти партии в прежней Румынии называли «историческими». — *Прим. ред.*

— Давай вступа́й в легион,—говорил ему Модорча с глазу на глаз.

Ливиус был готов присоединиться к движению легионеров, но по совету своего отца все откладывал претворение в жизнь этого намерения.

— Мы ведь служим фактически одному и тому же делу,—отвечал Ливиус Косма.

Колебание открыто примкнуть к движению легионеров сопровождалось тайными симпатиями этому движению. Дома, в своем рабочем кабинете, на стене позади массивного письменного стола во флорентийском стиле, Ливиус Косма повесил портрет Корнелиу Кодряну¹, а по утрам, принимая холодный душ, напевал легионерские марши и песни.

Когда легионеры потерпели поражение, а Ники (так он называл Николае Модорчу) был далеко, в Германии, Ливиус Косма не раз хвалил себя за политическую осторожность и мудрость. Он снял со стены и уничтожил портрет «вождя», а когда по забывчивости начинал насвистывать прежние марши, быстро спохватывался и притворно корил самого себя.

Теперь Ливиус забыл обо всех этих вещах или делал вид, что забыл. Он экспортировал в Германию по высоким ценам вагоны с зерном, кукурузой, фасолью, семенами подсолнечника, крупным рогатым скотом и свиньями. Дела у него шли как нельзя лучше. Как-то он без лишнего шума выехал в Германию, захватив с собой проект золотодобывающего рудника в Караше. В Берлине он встретился с Николае Модорчей. Косма выслушал его планы на будущее. И хотя они пока казались ему сумасбродными, фантастическими, он не осмелился высказать свое мнение. Модорча говорил Ливиусу Косме:

— Не удивляйся, если в один прекрасный день бригада Антонеску будет свергнута как неспособная управлять страной, а на аэродроме Бэняса приземлится двухмоторный «юнкерс» со сформированным и одобренным фюрером правительством Хории Симы² на борту.

¹ Корнелиу Кодряну — один из руководителей фашистской организации железногвардейцев в Румынии перед второй мировой войной.— *Прим. ред.*

² Хория Симы — один из руководителей фашистской организации железногвардейцев в Румынии перед второй мировой войной.— *Прим. ред.*

Этот разговор происходил в старинной берлинской пивной и неожиданно был прерван сигналом воздушной тревоги. Друзья быстро спустились в убежище, где с побледневшими лицами прислушивались к разрывам крупнокалиберных бомб. Из убежища они вышли, покрытые известковой пылью, осыпавшейся с потолка. В пивную уже не вернулись, и их пивные кружки остались недопитыми. Распрощались они по-приятельски. Модорча проводил Ливиуса до гостиницы. Там неожиданно он попросил Ливиуса одолжить ему денег.

— Несколько тысяч марок тебе не помешают? — спросил его Ливиус.

Потом Косма отсчитал шесть тысяч марок, и Модорча поблагодарил его.

Ливиус Косма был коллегой Ники Модорчи по лицу, а позже — по факультету. В науках Ники не был силен. Он походил на подростков, выросших не под присмотром родителей, а в зрительных залах кинотеатров, где демонстрировались фильмы о Дальнем Западе, и на пустырях, где происходили шумные футбольные баталии или вспыхивали жестокие драки по самому незначительному поводу и где можно было услышать самые скабрёзные анекдоты. Модорча водил Ливиуса в кино, таскал по площадям; он же водил его к «дамам». Ливиус Косма в какой-то степени инстинктивно защищался от этой атаки вульгарности. Со временем он стал юношей с деликатными манерами и сохранил за собой признаки подростка «голубой крови», про себя свысока и презрительно относящегося к «низшему» люду. Иногда он позволял себе проявлять аристократическое любопытство богатого человека и снижился до участия в уличной толчее. Ливиус тоже не отличался способностями, но в силу своего социального положения высшие премии ему были обеспечены по неоспоримому и неприкосновенному праву. Восемь лет он сидел в лицее на одной парте с Модорчей, как синьор со своим оруженосцем. Ники пользовался плодами этого неравного товарищества, в котором играл роль наемника, готового защищать своего хозяина в случае драки. За это он получал в качестве суточного жалованья деньги на сигареты и женщин и разрешение посещать дом «господина министра». Именно тогда в его поведении стало проявляться нахальство в сочетании с прислужничеством, свойственным бесхарактерным людям, которые задались

целью завоевать себе место в жизни любой ценой. Два года они были коллегами и по факультету права в Бухаресте. Ники Модорча сдал экзамен на бакалавра не без помощи «господина министра», который замолвил за него, как и за своего сына, словечко перед председателем экзаменационной комиссии. И на факультете Модорча держался за Ливиуса. Он запомнил слова старшего Космы, сказанные им после сдачи Ливиусом и Модорчей экзамена на бакалавра: «Сын мой, юриспруденция — единственная форма образования для будущих сенаторов и депутатов. Я думаю готовить тебя к политической карьере».

Проведя два года на факультете права в Бухаресте, Ливиус уехал в Сорбонну, а Модорча по-прежнему остался на берегах Дымбовицы.

Друзья детства отныне стали встречаться только во время летних каникул.

В апреле 1944 года, когда Ливиус случайно наткнулся на пачку старых писем времен своей учебы в Париже, он перечитал их с вполне объяснимым любопытством, будто впервые держал в руках. Кроме писем Ники Модорчи, здесь были письма от женщин, с которыми он флиртовал, номера телефонов, письма от деловых людей, которые увивались вокруг его отца, и особенно много писем от неизвестного Эдгара Баумгартена.

Переписка, на которую наткнулся в тот день Ливиус Косма, сохранила нетронутыми свидетельства истории. В первый момент ему в голову пришла мысль сжечь ненужные письма. Несколько дней он сидел дома и с жадностью перечитывал сотни писем.

«Бухарест, 12 июня 1934 г.

Дорогой Ливиус!

Получил письмо и телеграмму от тебя и спешу ответить. Здесь тоска, духота. Кругом скучные люди. Тоска потому, что люди готовятся к выезду в горы или на море. Духота нестерпимая, причем она чередуется с холодом.

Когда ты собираешься приехать? Прошу тебя, когда поедешь, привези мне шляпу самого современного цвета и формы, размер 56. Приезжай быстрее, потому что мне тебя страшно не хватает. Хочется вместе поколесить на машине, так, без всякой цели, поболтать о городских и прочих людских делах, дать обет отказаться от ужина и тут же заказать роскошный ужин у «Максима». Ники стал «великим» племянником. Трое его детей в прави-

тельстве (Драгоман, Лупшеску и Сэвяну). Один из них, не знаю, кто именно, подарил ему роскошную, бежевого цвета «альфу-ромео».

Как ты поживаешь? Как развлекаешься?

Извини, спешу: у меня свидание с Газелой. Она сейчас одна: ее муж в Женеве, в Лиге наций. Он пробудет там еще несколько недель, и ей, бедняжке, приходится развлекаться со мной. Она называет меня «черной пантерой», потому что у меня смуглая кожа. Днем мы ходим на речку, барахтаемся в воде и жаримся на солнце. В следующий раз напишу обо всем подробнее.

С приветом

Ники».

«Город Н., 30 июня 1936 г.

Дорогой сын!

В ответ на твою вчерашнюю телеграмму спешу сообщить: в отношении зачисления тебя в списки на соискание степени доктора политико-экономических наук все в порядке. Для экзамена необходимы следующие работы:

1. «Конституционное право» проф. Истрате Ионеску.
2. «Административное право» проф. д-ра Валера Ионицу.
3. «Международное общественное право» проф. Софроние Манлиу.
4. «Политическая экономия» проф. Стратилеску.
5. «Финансы» проф. Эуджена Гинеску.
6. «Аграрное и промышленное законодательство» Якоба Поповича.
7. «Церковное право» проф. Петре Сэвеску.
8. «Социальная политика, или социология» Эуджена Гинеску.

Я написал от твоего имени обязательство, касающееся неучастия в подрывных политических организациях, копию которого прилагаю для сведения. Правила сдачи экзаменов моя секретарша перепечатает, и 2 июня с. г. я вышлю их тебе.

Что касается нас, то мы все здоровы. Здесь у нас большая шумиха в связи с роспуском легионерских корпусов. Я после некоторого перерыва снова начинаю разъезжать по уезду для предвыборной пропаганды.

Ждем от тебя писем и известий о добром здоровье.

Много, много раз обнимаю.

Отец».

«Бухарест, 21 декабря 1936 г.

Дорогой друг!

Ты пишешь, что я тебя предал, но это неправда. Письма я тебе пишу, журналы высылаю регулярно, все твои поручения выполняю.

Здесь идет снег, да такой, что даже поезда заносит. Несколько слов об общих знакомых. Кики, вопреки его желанию, призвали в армию. Питзи наконец женился на Нане. На свадьбу все должны были явиться в белых фраках.

Потрясающая новость, которую должен знать и ты: в январе в Бухарест приезжает Люсьен Бойер. Получил от тебя «Dictionnaire de l'amig»¹, но он совсем не такой, как ты расписал.

Что касается меня, то я схожу с ума: хочется совершить что-то необыкновенное, потому что нужда набила оскомину, как лесные яблоки.

Я тоже защитил докторскую диссертацию и собираюсь окунуться в большую политику. Здесь без конца балы, но я был только на трех.

Когда поедешь, привези патефонные пластинки и руководство по игре в бридж.

Всегда твой
Ники».

«Бухарест, 15 июля 1937 г.

Решицкие заводы
Анонимное общество
Господину д-ру Ливиусу Косме

Отель «Риц-Париж».

Получив Ваше письмо от 11 июля, доводим до Вашего сведения, что наше Общество выплачивает дивиденды за 1934—1936 годы включительно. Стоимость купона за 1934 год составляет 10, за 1935 год — 13 и за 1936 год — 17 лей. Выплата производится по предъявлению купона или по почте.

С полным уважением
Президент административного совета
Эдгар Баумгартен».

Начитавшись писем, Ливиус оделся и отправился в кафе «Золотой петушок» с тяжелым сердцем. Дорогой он думал о том, что упустил свой шанс в жизни.

¹ «Словарь любви» (франц.).

Кэтанэ был беден, как церковная крыса, но жил мечтами о лучшем. Увиденное в Анине травмировало его больше, чем всех остальных. Он себе до сих пор не представлял, как выглядит шахтерский поселок, он не думал о том, какой мрачный и печальный пейзаж могут создавать сажа и угольная пыль, покрывая черным покрывалом несколько сот домов, деревья и небо. Теперь он с чувством стыда признавался самому себе, что все написанное им до сих пор о смерти — жалкие мадригалы. Теперь он считал, что, говоря о смерти, нужно вкладывать в свои слова не смирение и дешевый мистицизм, а гнев и протест.

Возвратившись из Анины, он несколько раз разговаривал с Ванчиу. Задыхаясь от волнения, он спрашивал доктора:

— Скажи, ты хоть раз видел, как умирали люди?

— Что это тебе пришло в голову спрашивать об этом?

— Это ужасно, Мирча! Теперь я знаю, как выглядит смерть.

Последнее слово он произнес с особым ударением.

— То, что ты видел в Анине, называется эксплуатацией человека человеком, да еще не в самых зверских ее формах,—ответил ему Ванчиу.

Кэтанэ с недоверием посмотрел на доктора. Раньше эти слова показались бы ему попыткой уйти от разговора на такую тему и перенести дискуссию на почву политической идеологии. Теперь же Кэтанэ со страхом почувствовал, что прозрел. Последовавшие за этим вопросы были по-детски наивны и со всей очевидностью вскрывали поверхностность его взглядов, но вместе с тем выражали страстное желание узнать правду.

== Скажи, Мирча, я бедняк?

— По твоему положению, по твоему образу жизни я без колебаний причислил бы тебя к категории интеллигентов-пролетариев.

— Значит, я бедняк...

— Но по образу твоего мышления я отнес бы тебя к мелким буржуа.

— А кто ты?

— Я давно нашел то, что искал.

— Я считал себя богатым человеком и был очень доволен своей жизнью.

— Ты богатый расточитель.—Лицо Ванчиу стало очень серьезным.—Пора бы тебе знать, что разбрасывать по ветру свое духовное богатство, вместо того чтобы отдавать его людям,—преступление.

Эта беседа шла во время ужина в столовой госпиталя. Им никто не мешал, и со стороны никто не подумал бы, что эти двое людей, сидящие за столиком и до сих пор считавшиеся друзьями, открыли вдруг новый источник, который должен был обогатить и еще больше скрепить их дружбу.

Через несколько дней Николае Кэтанэ написал новое стихотворение, но не показал его Ванчиу, желая сначала опубликовать и, таким образом, сделать другу сюрприз. Как и все молодые поэты, он сгорал от нетерпения увидеть стихотворение напечатанным. С таким чувством Кэтанэ отправился к Ливиусу. В типографии его не оказалось. Идти домой к Косме Кэтанэ не захотел. По дороге в столовую он увидел Ливиуса: тот входил в «Золотой петушок». Но Кэтанэ не решился пойти вслед за ним и почти целый час ждал Ливиуса на площади. Но Ливиус словно прирос к стулу. Кэтанэ наблюдал за ним через толстое, с зеленоватым отливом стекло, словно через стенку аквариума. Ливиус сидел с мрачным видом, уставившись в одну точку, а Патриций Мынекутза, подсевший к его столику, рассказывал ему какую-то историю.

Кэтанэ с деланным безразличием прошел мимо витрины и приветствовал Ливиуса широким жестом, но взгляд Ливиуса равнодушно скользнул мимо Кэтанэ. Незадолго до этого Ливиус кончил перечитывать свои старые письма и теперь с чувством горького сожаления вспоминал о неиспользованных возможностях молодости. Кэтанэ, пересилив себя, вошел в кафе. Почтительно поклонившись, остановился у столика, за которым сидел Ливиус. Затем попросил разрешения прочитать свое последнее стихотворение, написанное для очередного номера «Семеникула». Он извлек из кармана сложенный вчетверо лист бумаги и теперь держал его в руке. Он явно волновался, и руки у него дрожали. Ливиус со скучающим видом посмотрел на Кэтанэ, потом на лист и холодно произнес:

— Оставь стихотворение у меня, я его опубликую. Читать его нет необходимости.

Кэтанэ положил лист на краешек стола. Поклонившись, он отошел от столика с видом человека, с которым обошлись незаслуженно жестоко.

Стихотворение появилось через несколько дней на второй полосе газеты под рубрикой «Искусство — литература — музыка». Ливиус Косма отдал стихи в печать, даже не прочитав, а в день их появления его вызвал по телефону префект, который одновременно выполнял функции цензора.

— Хорошую же свинью ты мне подложил, господин Косма.

— Не понимаю, Бен.

— Ты опубликовал в своей газете стихотворение подрывного характера.

— Какое стихотворение?

— Про шахтеров, подписанное Кэтанэ.

— Кэтанэ и подрывная деятельность — это несовместимо.

— Я сам был поражен.

— Бен, прости меня, но это какая-то чертовщина! Этот Кэтанэ смирный, как теленок. Думаю, что он даже не знает, что такое женщина. Высказывать смелые мысли он просто неспособен.

— Прочти стихотворение и сам увидишь.

— Прочту, не беспокойся.

Ливиус прочел стихотворение и тоже поразился. Напечатанные строфы не походили ни на одно из предыдущих стихотворений Кэтанэ. Больше всего Ливиуса удивила тема, на которую оно было написано. Через несколько дней, когда Кэтанэ явился в типографию, между ним и Ливиусом состоялся следующий разговор:

— Что это тебе взбрело в голову писать о шахтерах?

— Я был на экскурсии в Анине...

— Ну и что? Ты там увидел ужасы?

— На меня это подействовало...

Ливиус резко оборвал разговор, и Кэтанэ ушел огорченный.

С того дня страницы «Семеникула» навсегда закрылись для стихотворений Кэтанэ.

Заберка, о визите которого после смерти мужа Мария рассказала Октавиану, на самом деле был шпиком сигуранцы. Партийная организация своевременно разоблачила его. Все связи с ним были порваны. Заберка не оставил в покое лишь Петру Журэску, кладовщика на вокзале. Но тот на все расспросы Заберки отвечал всегда одно и то же:

— Сам теперь ничего не знаю. Я ведь порвал с ними, потому что это не имеет никакого смысла. Почему я должен класть свою голову на плаху?

Заберка теперь бился как рыба об лед, потому что сигуранца все время требовала от него сведений, а он ничего не мог дать. Напрасно он внимательно присматривался ко всему происходящему вокруг него, напрасно расспрашивал Журэску. Тот неизменно отвечал, что ничего не знает, что решил бросить старое и теперь интересуется только своим хозяйством и службой. В один прекрасный день Заберка отправился к Марии. Но и этот визит оказался безрезультатным. В сигуранце он не осмелился признаться, что потерял всякую связь с партией и фактически оказался полностью изолированным. Он продолжал сочинять туманные донесения, которые не могли содержать интересующих сигуранцу сведений.

Внешне Заберка продолжал заниматься своим обычным делом, работая продавцом в табачном киоске на вокзале.

Тот, кто проезжал в те годы через город Н., без сомнения, помнит, что у перрона, как раз рядом с колонкой, на которой было написано: «Питьевая вода», находился киоск, обитый темно-коричневой жостью. Стены киоска были увешаны всевозможными журналами и газетами. Здесь, скрепленные друг с другом при помощи деревянных прищепок, подобных тем, какие женщины используют для развешивания белья, висели номера журналов «Сигнал», «Румынская иллюстрация», «Душа и тело», «Научный и географический журнал», газеты «Поток» и «Универсул», дешевые приключенческие книжонки. Никто не покупал их. В киоске сидел худой, с высохшим ли-

цом мужчины. Было видно, что его занятие казалось ему самым скучным на свете. Иногда его заменяла полная женщина, которая с трудом влезала в узкую дверь металлической коробки. Ее маленькие глазки заплыли жиром. Зажатая между толстыми пальцами сигарета казалась тонкой, как вязальный крючок. В отличие от мужчины женщина, казалось, была довольна своим ремеслом, будто она была рождена для того, чтобы продавать сигареты, камни для зажигалок, газеты и журналы. Она шумно разговаривала с покупателями, и из киоска часто доносился ее раскатистый смех. Нередко клиенту, остановившемуся купить всего лишь пачку сигарет, она очень ловко всучивала какой-нибудь иллюстрированный журнал, прибегая, как правило, к таким аргументам: «Возьмите, в нем есть еще *те* снимки» или: «Это последний номер, который есть у меня». Дежурный по вокзалу, военный комендант вокзала и полицейские, дежурившие на вокзале, хорошо знали ее. Проходя мимо киоска, они всегда останавливались, чтобы бросить ей несколько игривых слов:

— Мадам Заберка, смотрите не сломайте киоск. Вы сидите в нем, как в корсете.

— Такой меня сотворил бог,—отвечала она, заливаясь смехом.

Рядом с ней ее муж казался еще более тщедушным. Большая лысина делала его квадратную голову безобразной. Глаза у него не только смотрели в противоположные стороны, но были разного цвета. Одним словом, природа не щедро обошлась с этим человеком. Одевался Заберка скромно, даже бедно. Одежда на нем всегда была мятой и сидела как-то криво. И напротив, жена его одевалась с известной долей элегантности, хотя элегантность эта носила отпечаток вульгарности. Туфли на высоком каблуке придавали ей вид содержательницы провинциального борделя, а платья из искусственного шелка кричащих расцветок усиливали впечатление вульгарности.

В то утро в киоске сидел сам Заберка. Было жарко, и потому он открыл дверь, подперев ее старой тормозной колодкой. Приблизительно в половине девятого, когда солнце заливало перрон и фасад вокзала ярким светом, у киоска остановился какой-то человек и спросил продавца:

— У вас есть королевские сигареты без мундштука?

Продавец, казалось, очень удивился этому вопросу, но все же услужливо ответил:

— Конечно, есть.

Но человек не купил сигарет, которые спрашивал. Он пошел в сторону вокзала и остановился перед дверью с табличкой: «Начальник станции». Через несколько минут он вышел оттуда в сопровождении начальника вокзала, который для важности надел на голову форменную фуражку. Его движения говорили о том, что он нервничает. Они прошли мимо табачного киоска, даже не посмотрев в сторону Заберки, и зашагали к товарной платформе, куда был подан один-единственный вагон. Двое рабочих выгружали из вагона мешки с цементом и складывали их на платформе. Начальник вокзала и шедший с ним мужчина, который вел себя как хозяин, поднялись по ступенькам и вошли в контору склада. Здесь кроме заведующего складом находились еще двое мужчин, которые, как это было видно с первого взгляда, не являлись железнодорожными служащими или рабочими. Они нервничали — или из-за того, что приходилось ждать, или от бездействия — и, несмотря на надпись: «Курить строго запрещается», курили. Кладовщику явно не нравилось их присутствие. Шея у него вспотела, и он то и дело снимал с носа очки и протирал их большим носовым платком. Минут за десять до появления начальника вокзала один из мужчин с сомнением в голосе спросил другого:

— Ты думаешь, они еще придут за посылками?

— Я здесь не для того, чтобы верить или не верить. Тот, кто заказал вагон, заплатит за доставку и хранение, возьмет свои посылки — и до свидания. Меня для этого сюда и послали.

— Но посылки лежат десять дней, и никто за ними не приходит.

— Это их дело. Если в них скоропортящиеся продукты, они понесут убыток, а не я.

Когда в контору склада вошли начальник вокзала с каким-то мужчиной, стало ясно, что ожиданию пришел конец. Начальник вокзала сказал кладовщику:

— Выдай им те посылки.

— А как с оплатой? На каком основании я их выдам? — спросил кладовщик.

— Выдай под мою ответственность. Я отвечаю, — раздраженно проговорил начальник вокзала. Вошедший с

ним мужчина шепнул ему что-то. Начальник вокзала спокойно ответил ему:

— Конечно. Закроет склад и поедет с вами, если нужно. Какой может быть разговор?

Потом он повернулся к кладовщику и сказал мягким, почти заискивающим тоном:

— Дорогой Журэску, выдай посылки и закрой склад. Поедешь с ним.—Начальник вокзала показал на своего спутника.

Кладовщик, который ничего не подозревал или только делал вид, что не отдает себе отчета в важности происходящего, ответил:

— Хорошо, господин начальник.

Спустя полчаса после этого грузовик, накрытый защитного цвета брезентом с большими, неправильной формы пятнами маскировки, въехал во двор полицейского управления. Бетонированный двор, зажатый двумя глухими стенами соседних трехэтажных домов, напоминал коробку. Двор был полит водой, и от него шла прохлада. Грузовик остановился у въезда, охраняемого полицейским. Из него выгрузили три посылки, доставленные с вокзала, и перенесли их в помещение на первом этаже здания. Кладовщика провели в комнату рядом и оставили там под охраной сержанта. Не отрывая глаз от своего подопечного, сержант небрежно играл пистолетом, который держал в своей большой ладони.

В соседней комнате несколько человек, обуреваемые любопытством и нетерпением, начали вскрывать посылки. Однако в них не было ничего, кроме продуктов,—копченая колбаса, ветчина, копчености и несколько кругов сыра с коркой, покрытой плесенью. В этот момент в помещение вошел начальник местной сигуранцы Маноле Вартиадис. На нем был белый тиковый костюм и бежевая сорочка без галстука. Внимательно осмотрев содержимое посылок, Вартиадис нахмурился, повернулся спиной к посылкам и пренебрежительно приказал:

— Что стоите? Запакуйте посылки, как они были.

Затем он вошел в соседнюю комнату, закрыл за собой дверь и спросил железнодорожника:

— Ты кладовщик?

— Я, господин начальник.

— Как тебя зовут?

— Петру Журэску.

— Ты знаешь, где находишься?

Петру Журэску знал, где он находился.

— Господин Журэску, ты хочешь побыстрее выбраться отсюда?

Вопрос прозвучал так, будто любящий отец спрашивает своего ребенка: «Ты хочешь, чтобы я тебе купил эту игрушку?»

Начальник сигуранцы явно хотел как можно быстрее покончить с этим делом. Он протянул железнодорожнику клочок бумаги, испещренный фамилиями.

— Ты знаешь этих людей?

Журэску прочитал список. В него были внесены фамилии: «Йефта Марку Аким, машинист маневрового паровоза, Мейлэ Нисторан, стрелочник, Дмитрий Якобович, механик депо, Викенти Бодурян, будочник поста № 398» и, наконец, он сам: «Петру Журэску».

— Знаю,—ответил Журэску.

— Знаешь, что это за список?

— Список как список. Несколько фамилий...

— Хорошо, я скажу тебе. Это члены партийной ячейки на железной дороге.

Журэску держал список в руках. Он пробежал его еще раз и про себя отметил, что многих фамилий в нем неоставало, в том числе Партение Копэчана. Словно отгадав его мысли, начальник сигуранцы спросил:

— Что? Некоторых фамилий не хватает?

Журэску ничего не ответил. Вартиадис продолжал:

— Их не внесли по ошибке, но мы их знаем. Всех знаем. Я хочу знать, вернее, проверить, только одно: кто из этих людей обеспечивает связь с городской ячейкой. Если ты ответишь на мой вопрос, через час будешь свободен. Уйдешь от нас, весело насвистывая. Если нет, вместе с другими будешь предан военному суду в Тимишоаре.

— Я этого не знаю,—ответил Журэску.—Чтоб меня громом поразило! Если бы знал, сказал бы вам.—Журэску вдруг понял, что сигуранца бродит в потемках, что ей фактически ничего не известно, поскольку в список были включены люди, не являющиеся членами ячейки. «Это провокация,—сказал он себе.—Они хотят меня запугать. Нужно прикидываться дурачком».

Вартиадис посмотрел на Журэску и решительным тоном произнес: — Если не назовешь фамилию связного, можешь считать себя мертвецом.

Когда Ливиус Косма с помощью своей корреспонденции воскрешал в памяти прошлое, Октавиан Дамшу перечитывал записи своего брата, которые тот вел во время пребывания в Испании. Записи эти составляли толстую тетрадь. Здесь речь шла тоже о прошлом, но о другом прошлом, заполненном не мелкими, ничего не значащими приключениями, а событиями воистину знаменательными.

Валериу Дамшу, брат Октавиана, уже в раннем возрасте проявил склонность к литературе. Его мечтой было стать писателем. Во время учебы в четвертом классе лицея он чуть не попал на ежегодный конкурс «Румынская молодежь». До этого он уже получил премию на одном из литературных конкурсов. Участие в конкурсе «Румынская молодежь», широко известном в то время, способствовало бы признанию его таланта. Но лицеем было выделено всего лишь одно место, и в конце концов его отдали сынку из «хорошей» семьи с соответствующим социальным положением, а не Валериу Дамшу, сыну машиниста паровоза. Директор лицея, который одновременно был преподавателем румынского языка в классе Валериу, узнав, что он осмелился критиковать решение директора лицея, вызвал его к себе в канцелярию и сказал следующее:

— Каждый сверчок должен знать свой шесток. Неужели ты думаешь, что сын рабочего может быть лучше образован, лучше подготовлен и в конце концов более талантлив, чем сын господина полковника? Только по достойному сожаления недоразумению тебе было объявлено, что ты, возможно, поедешь на конкурс «Румынская молодежь». У вас латинский язык ведет Ионеску. Спроси его, если сам не знаешь, как переводится латинское выражение: «Non cuivis homini contingit adire Corinthum»¹. Можешь идти. Но учти: если ты и в дальнейшем будешь комментировать по-своему решение преподавательского совета, будешь исключен из лицея.

Осенью Валериу не стал записываться в пятый класс: не было денег на обучение. Не было учебников, формы. Он поступил учеником в железнодорожную школу в Тимишоаре. Приобретя специальность слесаря, устроился рабочим на вагоностроительный завод в Араде. Вскоре

¹ «Не каждому удастся побывать в Коринфе» (лат.).

был арестован за нелегальную политическую деятельность и приговорен к нескольким месяцам тюрьмы. Из каторжной тюрьмы в Карансебеше вышел летом 1936 года и сразу же вернулся на завод «Астра» в Араде. А осенью того же года добровольцем уехал в Испанию бороться против фашизма. Он погиб в боях за Университетский городок под Мадридом, и все, что от него осталось,—это тетрадь с двумя сотнями мелко исписанных страниц. Тетрадь проделала длинный путь и только благодаря счастливому стечению обстоятельств дошла до Октавиана Дамшу. Октавиан хранил ее на дне сундучка вместе с немногочисленными семейными реликвиями: несколькими фотографиями, шахматами, сделанными Валериу из хлебного мякиша во время пребывания в тюрьме, учебником французского языка, по которому Валериу учил в тюрьме французский язык, полотенцем, вышитым матерью, железнодорожным фонарем, оставшимся от отца, и несколькими бумагами. Из всего имущества семьи осталось только несколько этих предметов, и понятно, почему Октавиан берег их как зеницу ока. Вот как начинался дневник Валериу:

«Как только мы прибыли на юг Франции, в город Перпиньян, я купил толстую тетрадь, в которую отныне думаю записывать все, что составило бы фронтовой дневник. Сюда мы прибыли из Парижа на грузовике. Нас тридцать человек: французы, бельгийцы, сербы, немцы, чехи, англичане и шведы. Я и еще один рабочий из Тимишоары были единственными румынами, но в Перпиньяне я встретил еще трех соотечественников, прибывших двумя днями раньше. В скромно обставленных комнатах «Народного дома» Перпиньяна можно было услышать разговор одновременно на двадцати — тридцати языках. Но мы хорошо понимали друг друга. За всю дорогу из Парижа до этого пограничного городка я почти не видел мест, которые мы проезжали, так как кузов грузовика был закрыт брезентом. Я слышал только, как дождь барабанил по брезенту, и слова шофера, когда мы останавливались возле заправочных станций. Отъехав от Парижа, мы начали петь «Интернационал», сначала в два-три голоса, потом все вместе, каждый на своем языке. Но тут грузовик остановился. Французский товарищ, отвечавший за доставку группы до франко-испанской границы, предупредил нас, что мы должны соблюдать тишину. Фран-

цузские власти, сказал он, могут остановить нас и заставить повернуть обратно. Нам нельзя петь никакой, даже самой безобидной, песенки, не говоря уж об «Интернационале». До Перпиньяна мы ехали словно немые, куря сигарету за сигаретой, и лишь изредка вполголоса обменивались несколькими словами. Мы должны были сохранять видимость сезонных сельскохозяйственных рабочих, едущих на юг Франции для работы на виноградниках. Французский представитель даже имел на руках бумагу, удостоверяющую, что все тридцать пассажиров грузовика являются сельскохозяйственными рабочими. В Перпиньяне мы получили передышку. Некоторые добровольцы прибыли в военном снаряжении: в кожаных пальто, с вещевыми мешками, флягами, рюкзаками с продуктами и бельем, с биноклями, а некоторые даже с пистолетами. Прежде чем добраться сюда, мне пришлось целыми неделями ехать по полям Европы, спрятавшись в товарных вагонах в тормозных будках, пройти сотни километров пешком, часто окольными путями, переплывать реки, спать под открытым небом или в стогах сена. Пограничный городок Перпиньян означал конец опасности быть пойманным и возвращенным обратно. Сев в поезд, который должен был доставить нас в Фигерас (Каталония), мы могли считать себя огражденными от всех опасностей, кроме опасности погибнуть с оружием в руках в борьбе против фашизма, но эту опасность никто не принимал во внимание. В Фигерасе поезд выбросил нас, словно группу шумных экскурсантов, горящих нетерпением совершить восхождение по обрывистому склону какой-либо огромной и знаменитой горы. Здесь мы провели больше недели, словно в заточении в средневековой крепости, мучаясь от безделья. Затем нас перевели в Альбасете, который стал центром формирования добровольцев, прибывших со всех концов света, чтобы помочь испанской республиканской армии. Я никогда не забуду переезда из Фигераса в Альбасете. Долгий и утомительный путь: поезд, везший добровольцев, должен был останавливаться на всех станциях, даже на самых мелких и безвестных полустанках. Повсюду нас встречали толпы народа. Устраивались импровизированные митинги, торжественные приемы, произносились речи. Нас угощали вином, фруктами. Давали продукты на дорогу. Небольшой провинциальный городок Альбасете заполнили бойцы пятого полка и добровольцы, прибывав-

шие поездами из Фигераса или пароходом из Марселя. Нас разместили в романтических деревянных будках на Плаца де Торос. Мы думали, что нас быстро экипируют и направят на фронт, но последовал длившийся несколько недель период всестороннего военного обучения с тактическими занятиями, маршами, боевыми стрельбами на временно оборудованном за городом полигоне и наконец с занятиями по политической подготовке. Нас распределили в пехотную колонну.

.....

10 ноября 1936 года. Наконец мы выступили на фронт, под Мадрид. Вечером 9 ноября 1936 года мы прошли по улицам великого города. Над головами — натянутые между балконами на перекрестках улиц большие белые полотнища с надписями: «Venceremos!», «No Pasaran!»¹. Город горел, освещенный пламенем пожаров, вызванных налетами фашистской авиации, которая на протяжении целого дня бомбила столицу. Мы заняли боевые позиции на самом важном участке фашистской обороны — в Университетском городке.

11 ноября 1936 года. Пока мы ничего особенного не совершили. Оборудовали позиции и всю ночь мокли под дождем. Сегодня утром нас посетила группа иностранных гостей — писателей и журналистов. В гостях у нас были Эрнест Хемингуэй, Илья Эренбург, Рафаэль Альберти и Мария-Тереза Леон. Хемингуэй, огромный и массивный, одетый в короткую кожаную куртку на молнии, стал расспрашивать о нашей системе расположения орудий. Кто-то из нашей группы сказал ему, что среди нас есть доброволец, мечта которого стать писателем, и что он ведет фронтовой дневник. Хемингуэй заинтересовался. Показали на меня. Тогда Хемингуэй подошел ко мне и сказал: «Buenos días!»². Я знал всего несколько десятков самых употребительных испанских слов, но, используя нечто вроде смешанного французско-испанского языка, мы поняли друг друга без переводчика. Я признался Хемингуэю, что окончил лишь четыре класса гимназии и ремесленное училище. «Здесь, на фронте,—сказал он в ответ,—ты завершишь свое образование, а сражаясь бойцом в рядах Интернациональной бригады, приобретешь опыт, о

¹ «Мы победим!», «Они не пройдут!» (испан.)

² Здравствуйте! (испан.)

котором самые великие писатели только мечтают». Я поблагодарил его. В тот момент, когда я произносил слова благодарности, фашисты неожиданно начали артиллерийский обстрел наших позиций. Послышалась команда «А тегга! А бажо!»¹. Мы укрылись в траншеях. Через час гости покинули наши позиции. Напоследок мы угостили их «гарбанзос» (горохом, жаренным в оливковом масле). Хемингуэй все время называл меня «эль камарада Вальериу Дамшу».

14 ноября 1936 года. Я уже привык к суровой окопной жизни. Наши позиции расположены у Пуэнте де лос Франсезес и упираются в последние здания города. Здания эти укреплены, и снайперы из окон и подвалов следят за малейшим движением противника в зоне Университетского городка. Несколько дней подряд льет дождь. В траншеях воды по колено. К счастью, нам выдали сапоги. Павильоны Университетского городка, проглядывающие сквозь зелень деревьев, притягивают нас. Вечерами до нас доносятся протяжные песни мавров или выкрики (через усилители) фашистских пропагандистов, призывающих нас дезертировать. Затем они же начинают угрожать нам.

16 ноября 1936 года. Вчера развернулась наша атака на участке Университетского городка. Одновременно с нами пошли в атаку другие батальоны Интернациональной бригады, которые до того времени обороняли важные стратегические пункты: Пуэнте де Сеговия, Пуэнте де Толедо и Пуэнте де ла Принсеза, то есть те мосты, по которым фашистские войска рассчитывали войти в Мадрид. Атака была ожесточенной, и мы вновь отбили Каса де Кампо и павильоны Университетского городка. Мавры забрались на деревья парка и стреляли по нас сверху. Но эта хитрость была быстро разгадана и не принесла маврам успеха. Многие из них, сраженные нашими пулями, так и остались висеть на деревьях. Некоторые падали, как большие и уродливые плоды. Меня ранило в левую руку, но я сам быстро забинтовал ее, чтобы санитары не отправили меня на пункт медицинской помощи, оборудованный за Пуэнте де лос Франсезес, на окраине Мадрида.

Севернее Университетского городка, в парке, разбитом на пологом холме, спускающемся к глубокому руслу реки

¹ Ложись! (испан.)

Мансанарес, разбросаны виллы. Теперь они заняты фашистами, выбитыми из павильонов Университетского городка. Их нужно во что бы то ни стало выкурить из этих вилл и отбросить на противоположный берег реки. Эта задача возложена на нас. С наступлением сумерек и до зари мы тщательно готовились к штурму. Дождь продолжал лить как из ведра. Мы промокли до нитки. Произвели перекличку. Оказалось, что около тридцати процентов личного состава выбыло из строя. Однако обстановка складывается так, что пока об отводе нашей части в тыл для пополнения и отдыха не может быть и речи. Впрочем, никто из нас и не думает об этом. Все горят желанием выбить фашистов из их логова. На заре мы пошли в атаку. Пробежали десять, пятьдесят метров, но фашисты не сделали ни единого выстрела. Мы были на расстоянии всего нескольких шагов от крайней виллы, большого красивого здания современной архитектуры с плоской крышей, и уже считали, что без боя займем ее, но в этот момент на нас обрушился яростный огонь противника. Мы бросились на землю и поползли к зданию. Вскоре оказались в непростреливаемом пространстве. Достигнув стены, прикладами винтовок и саперными лопатками начали выбивать стекла. Внутри здания полетели десятки гранат. Наконец нам удалось проникнуть в комнаты и салоны первого этажа. Фашисты по внутренней лестнице перешли наверх и продолжали оказывать упорное сопротивление. Весь день мы оставались в таком положении: мы внизу, они наверху. Следили за каждым шагом друг друга. Тем временем остальные виллы были очищены от противника. Оставшиеся в живых фашисты отошли на противоположный берег реки. После полудня, видя безвыходность своего положения, фашисты, засевшие на втором этаже, попытались обманным путем вырваться из окружения. Они стали кричать, что сдаются. Бросили вниз несколько винтовок, но, спустившись по лестнице на первый этаж, начали бросать гранаты. Меня ранило во второй раз — в правую ногу. Очнулся я в лазарете на окраине Мадрида...»

— Ужинать будешь? — спросила Мария, как всегда бесшумно входя в комнату. Октавиан с недоумением посмотрел на нее, все еще находясь во власти прочитанного.

Не закрывая тетради, а только отодвинув ее немного в сторону в круг света, образованный светом абажура, он спросил недоуменно:

— А сколько сейчас времени?

— Уже поздно.

Октавиан посмотрел на Марию и только сейчас заметил под глазами у нее темные круги. «Здорово она устала со мной», — подумал он.

Октавиан еще ни разу не выходил из своей конспиративной квартиры. Иногда к нему приходил доктор Ванчиу, и тогда они часами беседовали в комнате Октавиана. Поскольку Ванчиу был офицером, его визиты не вызывали подозрения. От Ванчиу Октавиан узнал и о других членах ячейки, и в первую очередь о Партении Копэчане и капитане Павле Брия. Павел Брия был офицером запаса. Работал учителем в селе Рэсточи, неподалеку от города Н. В 1937 году в Карансебеше, еще будучи учащимся, принимал участие в работе утечистской ячейки. После окончания училища его направили учителем в родное село, но в этот момент начался призыв в армию. Сначала Брия учился на сборах офицеров запаса в Араде. Позже командовал взводом, ротой. Доктор Ванчиу помог ему избежать фронта. Брия остался служить в пограничном батальоне в городе Н.

Октавиан еще не был знаком с Копэчаном и Павлом Брия, но уже многое знал о них от Ванчиу. Что же касается Марии, то Октавиан первое время старался не замечать ее душевного состояния. Захваченный новыми идеями, он с увлечением работал и даже забывал, где находится. Поэтому всякий раз, когда Мария открывала дверь и приглашала его к столу, он с удивлением смотрел на нее. Мария была счастлива, что здесь, в ее доме, Октавиан находится в надежном месте, и гордилась тем, что именно она отвечала за жизнь этого человека.

В тот вечер Мария открыла дверь в комнату Октавиана и тихо спросила:

— Ужинать будешь?

Мария подошла ближе. Октавиан поднялся со стула, остановился напротив нее.

— А я и не заметил, как прошло время, — ответил он наконец.

Мария стояла молча, не смея поднять на него взгляд, полный надежды.

— Что с тобой? — спросил Октавиан.

Его удивило не ее состояние, а то, что он впервые увидел в ней женщину. Октавиан обнял Марию и поцеловал...

3

Марию словно подменили. Она теперь ходила легким шагом, будто летала по воздуху. По утрам уходила на работу, но, поскольку ей приходилось бывать в разных концах города — то для снятия показаний счетчиков, то для взимания платы за электроэнергию, — она в течение дня раз или два обязательно забегала домой, чтобы занести Октавиану газеты и журналы или передать срочные сообщения Ванчу. К этим поводам прибавлялось еще беспокойство, как бы в ее отсутствие с Октавианом чего не случилось. Она быстро закрывала за собой калитку, потом вбегала в дом, всегда с ужасом думая, что может не застать Октавиана дома, что вместо него увидит полицейских, переворачивающих весь дом вверх дном. Октавиан слышал, как она входила на кухню и спрашивала мать:

— Где Тави?

— Где ему быть? — отвечала старуха спокойным тоном человека, который исключает возможность несчастья или берет из вещей и событий только ту их часть, которая не связана с каким-либо беспокойством. Мария быстро входила в комнату Октавиана. На лице ее еще сохранялись следы пережитого. Октавиан целовал ее, говоря, что ей нечего бояться за него. Она прижималась к его колючей щеке и шептала:

— Я уже забыла, что тоже имею право на счастье.

Октавиан чувствовал себя неловко при подобных проявлениях чувств.

— Прошу тебя, не беспокойся, — успокаивал ее Октавиан.

— Не могу. Боюсь потерять тебя.

— Меня ты не потеряешь.

— Знаешь, почему я вчера три раза прибегала домой?

— Первый раз ты принесла газеты, а второй раз — записку от Мирчи.

— А еще зачем?

— Не знаю.

— Знаешь, только не хочешь сказать.
— Ты боялась, что меня увели.
— И позавчера я тоже прибегала.
— Знаю.
— Я счастлива и потому всего боюсь.
— Так всегда бывает.
— Как?
— Счастье приносит с собой боль и беспокойство.
— Как у меня?
— Как у нас.
— Знаешь, что я хотела тебе сказать?
— Что?
— Война скоро кончится.
— Почему ты так думаешь?
— Это чувствуется во всем.
— И так она тянется слишком долго.
— Я хочу тебя спросить о чем-то.
— Я слушаю.
— А после войны ты меня не оставишь?
— Как тебе могло прийти такое в голову?
— Может, у тебя есть кто-нибудь... Я тебя даже не спросила.

— Нет у меня никого.
— Абсолютно никого?
— Даже родителей нет. У меня есть только ты.
— Ты еще не сказал, что любишь меня.
— Такие слова говорят только один раз.
— Да. Но ты ни разу не говорил мне их.
— Ты их не слышала.
— Скажи еще раз.
— Говори тише, мать услышит.
— Она спит. Скажи мне еще раз.

Октавиан в темноте поцеловал ее в губы.

Через некоторое время Мария заснула, но к Октавиану сон никак не приходил. Он лежал на спине, глядя в потолок, освещенный серебристым светом луны, и думал. Так он пролежал до самой зари.

Мария готова была целыми днями говорить только о любви. Нередко в ее словах проскальзывал страх потерять любимого человека. Иногда во время ужина, воспользовавшись тем, что мать на минутку вышла из кухни, или ночью, когда они еще не спали, она вдруг говорила:

- Дорогой мой, если ты умрешь, я тоже умру.
— Не говори глупости.
— Я бы дня без тебя не смогла прожить.
— Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом.
— Я часто себя спрашиваю: что было бы, если бы ты не встретился мне на пути?
— Что об этом говорить!
— А я уверена, что все равно встретила бы тебя.
— Мир тесен.
— Мир велик, тропинок в нем очень много, но я все равно нашла бы тебя.
— Я об этом не думаю.
— А я думаю об этом с утра до вечера. Знаешь, как приятно сознавать, что после долгих лет страданий судьба наконец признала за тобой право на счастье...

4

Ливиус с большим удовольствием перечитывал старые письма и даже сортировал их по разным категориям: письма от женщин, письма от друзей, разные бумаги, телеграммы, визитные карточки. В категорию «бумаг» попали приглашения на общие собрания акционеров Решницких заводов, медицинские справки и документы об учебе. В эту папку он положил и бюллетень анализа, заполненный в 1937 году.

Ливиус и в то время отличался завидным здоровьем, но тем не менее не раз лечился в различных санаториях в Румынии и за границей. Впрочем, всем богатым людям свойственно бережное отношение к своему здоровью, и Ливиус с грустью смотрел на заключение врачей, рекомендовавших ему в свое время поехать на курорт в Виши. Он сам себя тогда убедил, что был болен и что только лечение на знаменитых водах спасло его. С грустью прочитал он и рекомендации знаменитых врачей, лечивших его и еще больше укрепился в мысли, что упустил что-то в жизни.

— Кто я такой в этом нищем провинциальном городишке? — воскликнул вдруг он. — Даже не поэт, как Кэтанэ. «Семеникул» — второсортная газетенка, а сам я сын бывшего министра, который никогда не станет видным сановником...

Однако грустные мысли не служили поводом для глубоких раздумий о событиях, происходящих вокруг него. Ливиус привык, чтобы за него думали другие, и страдал хронической ленью мысли, которую скрывал за молчаливостью, казавшейся глубокомысленной, хотя в действительности за ней не скрывалось ничего, кроме пустоты. У него было убеждение, что ему все доступно без всяких усилий с его стороны.

Фашизм как идеология Ливиуса не отталкивал. Впрочем, фашизм он знал только в самых общих чертах и по его внешним грубым проявлениям: аннексии, войны, военные демонстрации, антисемитизм. Ливиус был доктором юридических наук и должен был бы обладать всеми необходимыми качествами, чтобы давать оценку политической реальности. Но он был экспертом лишь по фривольным вопросам светской жизни. Углубленному исследованию он предпочитал канкан на сцене клуба, а в области политики до крайности упрощал вещи.

От чтения переписки Ливиус пришел в раздражение. Но в то же время, ожесточившись, стал подогревать себя мыслью, что не все еще потеряно, что он еще вернется в места, с которыми связаны воспоминания о бурно проведенной легкомысленной молодости. Однако мечта об этих местах была связана с чисто плотскими вожделениями.

«Надо успеть посмотреть большой свет, пока я еще молод, а не тогда, когда буду больным подагрой стариком, прикованным к креслу, передвигающемуся на колесиках», — говорил себе Ливиус.

В те времена, то есть в 1937 году, Ники Модорча совершил огромный скачок от униженного и жалкого положения лакея до поста политического деятеля с крупными претензиями. Архив, который Ливиус разбирал все с большим любопытством, содержал самые подробные данные об этом захватывающем скачке Модорчи. Но с тех пор прошло так много лет, что этот скачок казался уже не столь фантастическим и ошеломляющим, а вполне логичным и естественным.

В одном из писем, посланных 1 января 1937 года, Ники Модорча был еще слугой, с усердием служившим своему хозяину, хотя оно уже содержало намеки на его авантюризм. Он писал:

«Вкладываю в письмо одну из своих фотографий, где

я в зеленой рубашке, черных брюках, лаковых сапогах, с портупеей и револьвером «штеер»¹. Сейчас модно ходить со взъерошенным чубом, а волосы должны быть черными».

В то лето Ливиус проводил июль в Сен-Морисе. Об этом ему напоминало письмо его возлюбленной Пики:

«Дорогой Пусси!

Расстояние, что разделяет нас с тобой, мне кажется таким громадным! Наверное, все влюбленные тоже так думают? И как некоторые люди могут жить без этого возвышенного чувства, от которого зависит все остальное? Мы знакомы только два года, но у меня такое впечатление, что ты мой испокон веков и что ты ни о ком, кроме меня, никогда не думал. Я не представляю себе, что могла бы любить кого-нибудь другого вместо тебя. Через три дня я буду у тебя, в твоих объятиях. Пика».

В августе 1937 года Ники Модорча вернулся на родину. Зимой, в декабре 1937 года, Ники Модорча и Ливиус Косма были избраны депутатами, но им не удалось вознестись на гору Патриархии, где находилось здание парламента. Законодательные органы власти неожиданно были распущены.

Еще до этого, в 1936 году, горя неистовым желанием сделать политическую карьеру, вместе с тремя или четырьмя другими легионерами Модорча тоже отправился в Испанию. Он не совершил там ни одного героического поступка, да не для этого он и ехал туда: ведь это было опасно для жизни и для той большой карьеры, о которой он так страстно мечтал. Легионеры провели несколько недель на фронте, и только. Присутствие жалкой группы фашистов, прибывших из Румынии с оформленными по всем правилам паспортами, было, скорее, актом чисто символическим и походило на шумный пропагандистский трюк.

По ту сторону баррикад были сотни румынских добровольцев, проливавших свою кровь в боях против фашизма. Среди них был и Валериу Дамшу. Не знал он тогда,

¹ Такой была форма железногвардейцев, членов фашистской организации в Румынии перед второй мировой войной.— *Прим. ред.*

что погибнет, так и не дождавшись результата огромной схватки.

Несколько недель Валериу пролежал в госпитале, находясь между жизнью и смертью. У него начался сепсис, но его сильный, здоровый организм и усилия врачей сделали свое дело: смерть в конце концов отступила. Тетрадь с его заметками лежала в ящике тумбочки, и о ней он спросил прежде всего, как только пришел в себя. Потянулись долгие дни выздоровления.

...Теперь Октавиан, брат Валериу Дамшу, в напряженной тишине перечитывал эту тетрадь.

«30 декабря 1936 года. Я упрашиваю всех врачей госпиталя отправить меня на фронт, умоляю их всякий раз, когда они приходят в палату, но они с веселым легкомыслием обещают мне, что оформят документы о моей выписке из госпиталя, и так изо дня в день. Я заявил, что сбегу на фронт. Один из врачей, угрюмый канадец с постоянно пасмурным лицом, очень странно, почти оскорбительно смотрит на меня. Я уверен, что он меня считает если не сумасшедшим, то крайне экзальтированным человеком. Доктор нашел переводчика, подошел с ним к моей койке и через него сказал мне: «У румын горячий и неудержимый темперамент, но медицина требует, чтобы и бурные темпераменты без возражений подчинялись ей. Если вы убежите, то будете наказаны как дезертир. Уход из военного госпиталя в военное время без заключения врачей является нарушением дисциплины и рассматривается как дезертирство. Вы меня поняли?» Врач-канадец сказал эти слова по-английски, а переводчик перевел их мне. Я крепко выругался. Врач, кажется, понял это и без переводчика, но остался непреклонным.

4 января 1937 года. Впервые за время моего пребывания в госпитале мне разрешено увольнение в город. Вместе с группой раненых я вышел за ворота госпиталя. Одни передвигались на костылях, другие шли с забинтованной головой и походили на мавров с тюрбанами на голове. У меня рука была в гипсе, и мне приходилось держать ее так, будто я нес поднос с чашками кофе и пирожными.

На бульваре Кастеллана мы вошли в кинотеатр, посмотрели фильм «Юность Максима». Хотели купить себе билеты — песет у нас было достаточно, — но контролер поставил нам условие: или мы пойдем в кинотеатр бесплатно, или он совсем не пустит нас в зал. Чтобы мы не шли

па ошупь в потемках, он, посвечивая карманным фонариком, проводил нас и усадил в ложу с плюшевыми креслами, будто мы были по меньшей мере руководителями обсерватории Мадрида.

Потом мы гуляли по городу и, не заходя в убежище, наблюдали за воздушным боем между звеном «хейнкелей» и тремя республиканскими самолетами. Затем подошли к киоску букиниста, расположенному возле двухэтажного дома, вход в который был крест-накрест заколочен досками, и купили «Ночной полет» Экзюпери. В госпиталь я вернулся расстроенный: ведь здесь мне придется пробыть еще неизвестно сколько времени. Знать бы точно, в какой день меня выпишут из госпиталя, легче было бы переносить эти томительные дни...

6 января 1937 года. Сегодня наш госпиталь посетил Хемингуэй. Он заходил и в мою палату, но не узнал меня, никто ему не мог подсказать, что здесь лежит доброволец, с которым он познакомился в окопах и из котелка которого он ел «гарбанзос». Хемингуэя сопровождал врач-канадец, которого я не выношу. Врач знает об этом, и, возможно, именно поэтому они быстро прошли нашу палату.

20 января 1937 года. В Мадриде чувствуется приближение весны, а я, подобно средневековому рыцарю, лежу, как в панцире, в гипсе, с забинтованными плечом и рукой. Однако в конце этой недели я снова отправляюсь на фронт. Я это понял из поведения врачей, даже того же канадского врача, который продолжает аккуратно и строго выполнять свой долг, не обращая внимания на мое нетерпение.

27 января 1937 года. Врач-канадец скрупулезен, как профессор математики. А сегодня он сам снял с меня гипсовый панцирь и почти целый час рассматривал плечо и руку, находившиеся столько времени в гипсе. Он тысячу раз вертел меня в разные стороны, и мне показалось, что он нарочно ищет больное место, какую-нибудь мелочь, какую-нибудь причину, чтобы не выпустить меня из госпиталя, и в конце концов направил меня на рентген. А потом долго-долго рассматривал снимок. И только тогда сказал, что послезавтра я покину госпиталь.

— Почему послезавтра? — спросил я, и переводчик перевел мне его холодный и непреклонный ответ:

— Потому что следует выполнить канцелярские формальности, к которым медицина не имеет никакого отношения.

28 января 1937 года. Все формальности выполнены, но мне не хотелось покидать госпиталь, не повидавшись в последний раз с суровым канадцем. У меня появился какой-то детский задор, желание показать ему, что он так и не довел меня до отчаяния... И еще одно: что революционеру помимо сознательного выполнения своего долга должен быть свойствен особый энтузиазм, которого в докторе не было. Я застал доктора в моей палате, где он осматривал раненого. Переводчик, которого я попросил сопровождать меня в этом прощальном визите, сообщил ему, что я хочу поблагодарить его.

Врач посмотрел на меня своими холодными, пепельного цвета глазами и пробормотал что-то по-английски. Переводчик сказал, что мне придется несколько минут подождать. Во мне вдруг окрепло желание сказать канадцу несколько язвительных слов, и я подбирал в уме наиболее красноречивые выражения. И тут он встал со стула, подошел ко мне и неожиданно обнял меня за плечи. Это был теплый и дружеский жест. Его сухое, постоянно пасмурное лицо вдруг осветилось улыбкой. Что я мог сказать ему после такого неожиданного поворота дела? Насколько же сложен бывает человек! Ты его считаешь угрюмым, смотришь на его каменное лицо и думаешь, что за ним скрывается одна лишь суровость, сдержанная холодность, полное отсутствие чувств, и вдруг одна-единственная улыбка показывает, что он совсем не такой, каким ты его себе представлял. Канадец провел рукой по моим плечам и слегка обнял меня, будто в последний раз хотел проверить, хорошо ли зажил перелом кости. Потом попросил медсестру принести что-то из его кабинета. Вскоре она вернулась, держа в руках плитку шоколада и пачку канадских сигарет. С той же теплой улыбкой на лице врач вручил мне эти подарки.

Переводчик перевел мне его вопрос:

— Значит, вы на меня больше не сердитесь?

Не ожидая моего ответа, он продолжал:

— Знайте же, что я не меньше, чем вы, ненавижу фашистов, но я врач, и мой долг — вернуть вас на фронт здоровым и полным сил. Я не сомневаюсь, что фашисты испытают на себе вашу силу,

Я обнял врача и по румынскому обычаю приподнял его от покрытого линолеумом пола. От волнения у него заблестели глаза, и я почувствовал, что он старается сдерживать слезы. Затем он сказал:

— У вас медвежья сила, но детское сердце. Скажите, все румыны похожи на вас?..

Дочитав до этого места, Октавиан остановился. Пришла Мария. Он услышал, как она открыла дверь, вошла на кухню и спросила мать:

— Что слышно? Все в порядке?

В то утро она еще раз зашла домой по дороге на электростанцию и оставила Октавиану купленные в киоске газеты. Мария зашла сказать, что взяла отпуск и целые две недели будет с ним.

— Ты не рад?— спросила Мария, заметив отсутствующий взгляд Октавиана.

— Конечно, рад! Сейчас нам предстоит много работы, ты можешь свободно ходить по городу и поможешь нам.

Мария была счастлива тем, что хоть эти две недели с утра до вечера будет вместе с Октавианом, перестанет бояться за него, сама внимательно будет следить за всем.

А Октавиан, перечитывая дневник брата, вдруг с особой остротой понял, насколько тяжела была борьба, которой тот посвятил свою жизнь. И ему захотелось немедленно окунуться в гущу этой борьбы.

5

Префект уезда, как обычно, проснулся к девяти часам утра, когда солнце залило золотистыми лучами весь дом. Спал Бенедикт Попеску-Зимнича летом в льняной ночной рубашке, вышитой на груди и широких рукавах цветными нитками.

Дом префекта — дача в кубистском стиле с окрашенным в неприятный серый цвет фасадом — находился недалеко от ортодоксальной церкви. Эта изолированная и тихая улица с одной стороны была огорожена толстой стеной расположенного рядом с церковью кладбища, которое переходило в пустырь, обнесенный дощатым забором. Рядом с домом префекта, на той же стороне улицы, стояли дача крупного чиновника из города Анины — новый дом во флорентийском стиле с решетками на окнах

и массивными чугунными воротами — и два других весьма скромных домика, один из которых не был даже оштукатурен.

Во дворе одного из этих двух домиков обычно крикали утки, хрюкала огромная свинья, через низкий забор виднелась груженная навозом повозка. Рядом с этим пейзажем дом префекта удивлял всех своей претенциозностью. Снаружи он напоминал строение в кубистском стиле, а внутри своими деревянными потолками, окрашенными черной морилкой, оштукатуренными стенами, настилом из навощенных красных кирпичей в гостиной был похож на простой деревенский дом. Развешанные на стене офицерские сабли, кинжалы и современные охотничьи ружья плохо сочетались с отдельными предметами дорогой старинной мебели: столиком в стиле Людовика XV, глубокими креслами, флорентийским письменным столом. На полу лежал пушистый бухарский ковер. В небольшом дворе за домом, в курятнике из плетеной проволоки, кудахтали десятки кур. Каждое утро можно было наблюдать, как ординарец в белых брюках, рубашке и войлочных тапках резал две-три птицы. Часто во двор въезжали крестьянские повозки с дровами, с корзинами винограда и фруктов, с птицей и ягнятами, с мешками пшеницы и большими бочками, от которых распространялся острый запах цуйки, вина и виноградных выжимок.

На первом этаже дома помещались две спальни; в них стояла такая же разрозненная мебель, и они отличались тем же самым смешением стилей. Причиной этого было не только отсутствие вкуса у хозяев дома; дело в том, что эта мебель приобреталась самыми разнообразными и нечистыми путями. Висевшие на стенах картины напоминали простые цветные фотографии или увеличенные до размеров афиши почтовые открытки. Тут были морские пейзажи, написанные неизвестным художником Вэляну, маки и цветы, принадлежащие кисти какого-то Дору Попеску. словно ценные музейные полотна, они были вставлены в самые дорогие рамы и явно контрастировали с несколькими висевшими на стенах действительно хорошими гобеленами и с лампами и лампочками из кованого железа, при помощи которых хозяева безуспешно пытались придать интерьеру итальянский стиль.

Были в доме и другие предметы, но уже не средневековые, а современные. Здесь были огромные грубые пе-

пельницы из орудийных или минометных снарядов, развешанные на стене охотничьи дипломы, медали и ордена, уложенные на бархатные ярко-красные подушки и ожидавшие, казалось, торжественного погребения, музыки и напыщенных речей.

В то утро префект был необычайно зол и выражал свою злость потоком крепких ругательств. Случилось, по его мнению, нечто из ряда вон выходящее. Ординарец префекта, как обычно утром, спустился вниз и вынул из почтового ящика корреспонденцию. Здесь были последний номер местной газеты «Семеникул», а также «Универсул», «Курентул», «Сентинела», пакет из Зимничи, два официальных письма из Бухареста, несколько маленьких конвертов с поздравлениями и приглашениями и напечатанный мелким шрифтом лист бумаги. Вынув корреспонденцию из почтового ящика, ординарец положил ее на край стола в гостиной, рядом с фуражкой и саблей префекта. Жена префекта забрала адресованные ей письма и газету «Семеникул». Больше всего ее интересовала местная газета. За день до этого ее попросил зайти к нему Ливиус Косма и сказал:

— Уважаемая госпожа, буду счастлив, если узнаю, что утром за завтраком вы окинете взглядом наш «Семеникул».

— Вы напечатали сообщение о бале в честь раненых?

— Не только сообщение, госпожа!

— И мое стихотворение?

— Вы угадали, госпожа. Ваше стихотворение тоже.

Жена префекта сгорала от любопытства. Вначале она прочитала статейку, подписанную: «Колибри»:

«Большой бал

В субботу, 12 мая сего года, в ресторане «Корона» под покровительством патронажного совета был дан бал с вещевой лотереей и аттракционами в пользу раненых, находящихся на излечении в местном госпитале. Хозяйкой бала была госпожа Султана Попеску, жена нашего префекта, храброго офицера, хозяина и отца уезда полковника Бенедикта Попеску-Зимнича. Госпожа Султана Попеску была в изумительной красоты национальном костюме. Бал и вещевая лотерея пользовались замечательным успехом, удалось собрать значительную сумму — 56 897 лей. Играл военный оркестр местного гарнизона под управле-

нием господина лейтенанта Ервина Стэмэтеску. На балу присутствовали господа адвокат Ливиус Косма, судья Антониу Попович с супругой, прокурор Мунтяну Нерва Троян, адвокат доктор Патриций Мынекутза, майор германской армии Рудольф Сюденхорст, профессор Иоанович, капитаны германской армии Иосиф Бушер и Фриц Еуджен, заместитель судьи Петру Сернеску, Илие Крэчун с супругой, примарь города Чимпояшу Мойсе, директор лицея Бибель Франчиск, директор шахты из города Анина Рудольф Кунст, член административного совета Решицких заводов Вирджил Епуряну, директор префектуры уезда с супругой и со своей грациозной воспитанницей Эме Кармен и т. д.

На балу госпожа Султана Попеску, известная своим патриотизмом и поэтическим талантом, которым природа, как истинно румынскую матрону, так щедро ее наградила, с большим волнением, глубоко тронувшим всех присутствовавших гостей, прочитала поэму, посвященную нашему героическому городу. В знак признательности мы публикуем эту поэму на первой странице газеты».

И действительно, на первой странице газеты, рядом с фотографией поэтессы в национальном костюме, была опубликована ее поэма.

Перечитывая стихи, казавшиеся ей теперь в тысячу раз лучше, Султана спросила брившегося в ванной и напевающего какой-то бравурный марш мужа:

— Бен, ты знаешь, моя поэма напечатана в газете «Семеникул».

— В самом деле?

— Вот газета. Кроме того, тут же опубликована статья о бале, который состоялся в прошлую субботу.

— Поздравляю, я очень рад за тебя.

— Ты не знаешь, кто такой Колибри?

— Как ты сказала?

— Колибри.

— Должно быть, этот бездельник Ливиус.

— Он очарователен!

— Может быть, пригласить его завтра на обед?

— А-а-а, нет. Я думаю совсем о другом.

— О чем же?

— Не выпустить ли мне томик моих поэм?

«Она с ума сошла», — подумал полковник и сказал:

— Хочешь стать мадам де Сталь?

- Деньги, которые я получу за книжку, можно внести в фонд помощи раненым. Меня бы тоже наградили.
- Мало тебе медалей в нашем доме? Зачем тебе это?
- Бен, ты готов? Пошли завтракать.
- Сейчас приду.

Во время завтрака префект со скучающим видом начал просматривать почту. Прочитав сообщения с фронта, он что-то невнятно пробормотал. Потом взял в руки сложенный вдвое, напечатанный мелким шрифтом листок бумаги, развернул, и тут лицо его неожиданно побагровело. Он тут же позвал ординарца:

- Эй ты, болван, где ты нашел это?
- В почтовом ящике.
- В почтовом ящике или под дверью?
- В почтовом ящике.
- Хорошо! — сказал префект угрожающим тоном и, поднявшись со стола, подошел к телефону. Это был старый аппарат с ручкой. Не предвещающим ничего хорошего жестом он взял трубку, повертел ручкой и хриплым голосом прорычал:

— Станция! Станция! Чем вы там занимаетесь? Румяните морды? Подпиливаете себе когти? Как это «кто»? Меня не узнаете? Дайте мне квартиру Вартиадиса. Быстро!.. Это ты, Вартиадис? Срочно зайди ко мне. Нет, не в префектуру, а домой.

До прихода Вартиадиса префект никак не мог прийти в себя.

— Успокойся, а то опять начнется приступ печени, — предупредила его Султана, но префект даже не слышал ее.

Наконец явился Вартиадис. Префект встретил его у дверей.

— Дорогой Вартиадис, дерзость коммунистов дошла до крайности!

— Что случилось?

— Посмотри, что я нашел сегодня в своем почтовом ящике!

Вартиадис взял листовку и посмотрел на мелкий, как зернышки перца, шрифт. Текст листовки уже был ему знаком. В деле, с которым он пришел сюда, тоже находилась такая листовка.

— Дорогой Бен, мне известно все это свинство. За последнее время наши агенты и осведомители отметили

частое появление в городе коммунистических листовок. Происхождение их одно и то же: подписаны они областным Банатским комитетом Коммунистической партии Румынии. Одновременно они появились в городах Анина, Решица и Бокша, и не только в мастерских и цехах, но и в пригородных поездах, на вокзалах и улицах, были наклеены на стенах домов, на телеграфных и электрических столбах, на витринах. Мы приняли меры. Усилили полицейские облавы, все подозрительные задерживаются. В паспортном отделе полиции производится перепись всех семей, бежавших из прифронтовой зоны и поселившихся в нашем городе. Даны строгие указания всем агентам и осведомителям усилить работу и срочно установить, кто распространяет листовки. Относительно подрывной деятельности коммунистов в радиусе уезда составлен подробный отчет. Можешь его прочитать, Бен.

Вартиадис вынул из своей папки отпечатанный на машинке лист бумаги и протянул префекту. Префект прочитал следующее:

«5 мая сего года у гражданина Иона Мэргана, по прозвищу Трэилэ, проживающего в деревне Сурдукул Маре, Бозовичской волости, по профессии шахтера, работавшего на шахтах в городе Анине, было найдено 5 (пять) из тех коммунистических листовок, которые обнаружены по всей территории уезда. Листовки были найдены в подкладке его одежды, в раздевалке, в то время как сам он находился в забое. Ион Мэрган арестован и вместе с соответствующим делом будет направлен в город Тимишоару для следствия. Он заявил, что не является коммунистом, что листовки нашел случайно, но не выбросил и не заявил властям из-за страха. Несмотря на то что во время допроса были приняты необходимые меры, добиться других сведений от арестованного не удалось. Обвиняемый утверждает, что он не знает никого из коммунистов. В ходе предпринятого нами расследования по этому делу установлено, что вышеупомянутый Ион Мэрган известен как тихий и честный человек. Отец его, сторонник политики национал-цэранистской партии, в 1929 году был назначен помощником примаря. Арестованный не занимался никакой политической деятельностью. Шахтер с 1938 года. Все время работал в городе Анине. Дирекция шахты дала о нем хорошие отзывы.

Есть основания предполагать, что Ион Мэрган только

недавно был втянут в подрывную деятельность коммунистов. Следствие по данному делу продолжается. Секретная служба сообщила нам, что на склад вокзала поступили три посылки, в которых находится оружие и подрывной материал. Однако в результате быстро предпринятого расследования установлено, что в посылках находились продукты. Тем не менее кладовщик Петру Журэску арестован. Мы надеемся, что следствие приведет к раскрытию коммунистической сети.

На шахте в городе Анине испортился подъемник у главного ствола. Это произошло вечером 8 мая сего года. Подъемник не работал на протяжении пяти дней. По этому делу проводится усиленное расследование. Старший механик Ладислав Новачек и его помощник, механик Матей Стрэин, задержаны».

— И это все? — спросил префект.

— Пока все, — ответил Вартиадис.

— Значит, вы арестовали шахтера из города Анина, который заявил, что не коммунист, хотя вы нашли у него коммунистические листовки?

— Так точно.

— А что говорит кладовщик вокзала?

— Что ничего не знает.

— Чего же нам ждать, дорогой мой? Чтобы он признался, что коммунист? Он же умрет, но не скажет этого. Плети не помогли?

— Характер у него не из слабых.

— Война, Вартиадис, есть война. Зачем нам нужны перчатки?

— Неужели ты думаешь, дорогой Бен, что мы работаем в перчатках? Если бы ты знал, как он выглядит...

Следствие по делу Петру Журэску совершенно изнурило Вартиадиса: оно длилось очень долго. Все попытки вырвать у арестованного хоть какое-то признание или даже намек на признание ни к чему не привели. Арестованный несколько дней назад, Журэску свyksя с мыслью, что его не скоро выпустят, и привык к допросам. Он еще никогда не находился под арестом или следствием и, с тех пор как перешел на подпольную работу, больше всего боялся оказаться в лапах полиции. Рассказы тех, кто побывал там, о мерзостях, творящихся в подвалах полиции, приводили его в ужас. Он тогда рассуждал сам с собой: «Я обычный честный человек и всей душой связан с пар-

тией, но, если меня когда-нибудь арестуют, будут бить и истязать, не дай бог я потеряю сознание и проговорюсь, назову какую-нибудь фамилию, какой-нибудь адрес.

Журэску до такой степени боялся истязаний, что при одной только мысли об этом у него мурашки пробегали по коже и кровь стыла в венах.

И вот он попал в руки Вартиадиса, в руки, которые не раз были в крови, сидит избитый в подвале сигуранцы, его целыми днями допрашивают, но до сих пор ничего не добились. Он сам удивился, поняв, что оказался сильнее своих палачей. К этому удивлению прибавилась уверенность и, наконец, гордость за то, что он настоящий коммунист. По истечении нескольких дней ареста и следствия он был твердо убежден, что не скажет следователю ничего, что бы впредь ни случилось. Однако он полагал, что все-таки выйдет отсюда живым, и по простоте душевной ждал, что следствие по его делу будет прекращено или что, в крайнем случае, его осудят на несколько лет тюремного заключения. Тюрьма его уже не страшила.

Но Петру Журэску жестоко ошибался. Откуда ему было знать, что префект вызывал Вартиадиса; он и не подозревал, что, вернувшись от префекта, Вартиадис в тот же день вновь возобновит допрос с таким зверством, что все перенесенное Петру до сих пор покажется ему пустяком.

Желая в кратчайший срок закончить дело Петру Журэску, Вартиадис приказал доставить арестованного в камеру допросов. Камера была оборудована по указаниям Вартиадиса еще в 1941 году, после того как он в составе специальной делегации побывал в одном из отделений берлинского гестапо. Это была настоящая камера пыток. Попав в нее, можно было подумать, что находишься в кабинете врача неопределенной специальности. В нескольких застекленных шкафчиках находились скальпели, шприцы, клещи, тиски. Вместе с тем, как в спортивном зале, здесь находились кольца, веревки. Был здесь и хирургический стол с ремнями для «иммобилизации больного».

Движимый духом соперничества с гестапо и любовью к своему делу, Вартиадис внес в оборудование камеры ряд мелких новшеств, например блоки, которыми жертву приподнимали на две ладони от пола, для того чтобы, как говорил сам Вартиадис о своем дьявольском изобретении,

«человека можно было пытаться в оптимальных условиях».

Когда в сопровождении двух агентов Журэску вошел в камеру, Вартиадис изобразил на лице доброжелательную, почти приятельскую, улыбку и сказал:

— Вот видишь, дорогой мой, тебя опять доставили сюда, и мы возобновим наш разговор. Мы хотим показать тебе некоторые вещи, некоторые предметы и установки, которые работают самостоятельно и безошибочно и у которых нет ни жалости, ни сердца. Весьма возможно, ты можешь умереть, если, разумеется, не решишься сказать, с кем связан по партийной линии. В свою очередь, я на свою ответственность решил несколько снизить претензии. Мне будет вполне достаточно, если ты назовешь фамилию только одного-единственного коммуниста, которая тебе придет на память. Даю тебе на обдумывание ответа полминуты.

— Я ничего не знаю, — сказал Журэску в ту же секунду, будто быстрота ответа могла решить дело в его пользу.

Услышав ответ, Вартиадис быстро снял пиджак, надел белый халат и приступил к истязанию своей жертвы. Он принялся за дело слишком ретиво. Петру Журэску вгоняли под ногти шприцевые иглы, блестящими, как золото, латунными тисками сжимали пальцы, применяли без перерыва и другие пытки. Через несколько часов его тело превратилось в сплошную рану, и он потерял сознание. Вдруг палачам показалось, что во время пыток Петру Журэску произнес какую-то фамилию.

— Что он сказал? — спросил усталый, обливающийся потом Вартиадис, склонившись над раковиной в углу камеры.

— Он несколько раз повторил какое-то слово, — сказал один из подручных Вартиадиса.

— Какое слово? Вы записали это слово? — спросил Вартиадис, приближаясь с полотенцем в руках к двум агентам, стоявшим возле матраца, на котором тряслось и содрогалось в ужасных конвульсиях тело Журэску.

— Аким или Акин... Что-то в этом роде.

Вартиадис взял со стола, стоящего в камере напротив единственного окна с решетками, бумагу, лихорадочно начал всматриваться в нее и вдруг вскрикнул:

— Передайте Добротэ, пусть немедленно возьмет наряд и арестует железнодорожного машиниста Марка Лефта Акима.

Через несколько часов Петру Журэску умер. В ту же ночь его тайно закопали, а в его деле Вартиадис каллиграфическим почерком вывел на полях: «Воспользовавшись рассеянностью надзирателя, когда тот выводил Петру Журэску из одиночной камеры, расположенной на третьем этаже, арестованный бросился через окно коридора и умер, разбившись о мостовую во внутреннем дворе полицейского управления. Вскрытие показало: перелом черепа и позвоночника».

6

Одну из операций партийная организация города Н. провела утром в праздник Дня героев, когда ожидалось пышное богослужение в соборе, процессия на кладбище и торжества в зале старого городского театра. Местные власти заранее предприняли ряд мер, чтобы предотвратить возможные действия со стороны коммунистов. Накануне проведения праздника Дня героев были усилены военные патрули и подвижные посты агентов. Ночь прошла весьма спокойно, и за ночь было задержано лишь три-четыре гражданина, проверка документов которых не вызвала никакого подозрения. К рассвету патрули вернулись в казармы, а агенты, которым надоела бессмысленная слежка, исчезли. И тогда на улицах появились группы коммунистов, которым было поручено распространить листовки. Они были маленькими, величиной с ладонь, и легко приклеивались к стенам. Текст листовок состоял всего из нескольких фраз, но они звучали, как призыв к борьбе: «Долой войну, которую ведет Гитлер и Антонеску! Смерть гитлеровским оккупантам!» Листовки были расклеены в заранее установленных местах и легко могли сойти за различного рода объявления и постановления, за полоски бумаги, наклеиваемые по приказу командования противовоздушной обороны на окна и витрины для предохранения стекол. В темно-синем рассвете эти ярлычки были незаметны и не привлекали особого внимания, а утром и днем их должен был увидеть весь город.

Намеченное торжество состоялось, но без того размаха, который предполагался. Слишком много было явного

лицемерия и фальши. На церемонии присутствовали лишь представители властей, священники, офицеры да наиболее видные дамы из патронажного совета.

Когда процессия, которая по числу участников была не больше обычной похоронной процессии в провинциальном городишке, направлялась на городское кладбище, можно было видеть группы полицейских и агентов, заставлявших домовладельцев соскабливать бритвами и кухонными ножами сотни наклеенных на витрины и окна листовок.

Шедшие в рядах процессии люди украдкой, с беспокойством наблюдали за этим. Только породная супруга префекта как ни в чем не бывало глупо и даже игриво улыбалась. Префект уезда, одетый в полную парадную форму с белым султаном на фуражке, шел с удрученным видом во главе процессии. Не в первый раз его охватывало чувство, что все потеряно. На улицах своей уездной резиденции он чувствовал себя как миллионер на палубе тонущего «Титаника», когда ничто уже не может принести спасения: ни миллионы и чины, ни крики отчаяния, ни рука, скорчившаяся на спусковом крючке револьвера. Префект впервые так ясно понял, что является главой неподчиняющегося и, по сути, враждебного ему города. Он почувствовал слабость.

— Я задыхаюсь. Откуда такая жара? — прошептал он, обращаясь к шедшему рядом с ним майору.

7

Среди трех учеников лицея, арестованных за распространение листовок, был и сын профессора Ясского университета, эвакуированного в город Н. вместе с этим старым учебным заведением. Профессор считался крупной, всеми признанной величиной в юридических науках. Поэтому вовлечение его сына в коммунистическую деятельность казалось просто невероятным. Получив обещание профессора следить за сыном, префект во избежание лишних осложнений дал указание освободить всех трех учеников. Их, конечно, строго предупредили и пригрозили, что в другой раз они, если попадутся, будут отправлены в военно-полевой суд. У этих ребят была обнаружена только одна листовка, и та у сына профессора. Ничего не

зная о ходатайстве профессора и его нажиме на префекта, три лицеиста с самого начала дали на следствии одинаковые показания, которые звучали вполне правдоподобно и обеспечивали им полное алиби: «До четверти четвертого мы развлекались в ресторане «Золотой петушок». В четверть четвертого решили идти по домам. На улице Попазу остановились закурить и заметили на тротуаре клочок бумаги. Вначале подумали, что это бумажка в пятьсот лей, утерянная каким-то прохожим. Подняв ее, заметили, что это листовка. Вдруг к нам подошли два господина и потребовали предъявить документы. Конечно, мы испугались и бросили листовку, но те двое заметили это, подняли ее и, увидев, что это такое, приказали нам следовать в полицию. Вот и все».

Под следствием осталось только двое железнодорожных рабочих. Но их Вартиадис не смог запугать. Больше всего ему хотелось узнать, где находится подпольная типография. Для этого он пригласил в полицейское управление Ливиуса Косму. Косма явился с улыбкой на лице, хотя и возмущенный этим вызовом. Вартиадис извинился, сказав, что обстоятельства заставили его пригласить Косму в полицию. Поскольку листовка, распространенная накануне праздника Дня героев, больше ни для кого уже не являлась секретом, он вынул из папки один экземпляр и показал его Косме:

— Дорогой доктор, как ты думаешь, где отпечатана эта штука?

Слова «эта штука» были произнесены так, как будто речь шла не о листке бумаги, а об оружии, которое содержало в себе страшную взрывную силу. Ливиус Косма осторожно, двумя пальцами взял листовку и долго смотрел на нее, хотя хорошо знал, что такие листовки расклеены по всему городу. Потом положил ее на стол и сказал:

— Откуда мне знать? Уж не принимаешь ли ты меня за коммуниста?

— Что ты, дорогой мой! — загорячился Вартиадис. — Как ты мог подумать, что мы можем выдвинуть против тебя подобное обвинение? Но дело в том, что ты являешься владельцем единственной в городе типографии.

— Во всей моей типографии нет ни одной такой литеры.

— Ты думаешь, речь идет о настоящей типографии?

Ливиус Косма, как знаток типографского дела, снова начал рассматривать листовку с обеих сторон. Затем убежденно сказал:

— Эта листовка была отпечатана на станке «Бостон». А эта машина не такой предмет, который можно спрятать, как обручальное кольцо в кармане жилета...

— Дорогой мой, я хотел бы просить тебя помочь нам в одном деле.

— Я тебя слушаю.

— Сколько рабочих работает в твоей типографии?

— Двадцать три квалифицированных рабочих, старший мастер и пять учеников-практикантов.

— Мы хотели бы устроить у тебя еще вот этого...

Произнеся эти слова, Вартиадис протянул Ливиусу Косме фотографию размером с иллюстрированную почтовую открытку, которую он вынул из той же папки, где находилась листовка. Это была фотография весьма пожилого, очень худощавого человека лет пятидесяти. Взгляд у него был какой-то колючий.

— Кто он такой? И что он будет делать в моей типографии? Разве у меня своих людей не хватает? Дела идут плохо, и я хотел бы уволить пять-шесть человек, а не нанимать еще одного, который мне совсем не нужен.

— Дорогой мой, ты должен понять: это больше, чем просьба. Впрочем, заработную плату ему мы будем выплачивать сами, он будет получать ее у меня.

— Если так, я согласен, хотя не вижу в этом никакого смысла. Могу заверить, я неоднократно информировал тебя о том, что в типографии «Семеникула» нет ни одного человека, хотя бы симпатизирующего коммунистам.

— Дорогой, позволь нам иметь на этот счет свое мнение. Этот человек не причинит тебе никакого беспокойства. Постоянно находясь среди рабочих, сдружившись с ними, он будет располагать более точной информацией, чем директор-владелец, который заходит в типографию только несколько раз в неделю.

— Хорошо, согласен. Я беру его на работу, но сразу договоримся: расходы ваши.

— Иначе я себе и не представлял.

— Когда он должен явиться на работу?

— Он придет к тебе в субботу утром. Зовут его Ни-

колае Фуйорович. Я хотел бы, чтобы он приступил к работе с будущего понедельника.

— Договорились.

8

Именно потому, что типография «Семеникул» была единственным полиграфическим предприятием в городе Н., печатать там листовки партийной организации было невозможно. Бумага, краска, шрифт, печатный станок «Бостон», приводимый в действие вручную, были доставлены из Тимишоары. Станок был установлен не в черте города, а в доме лесника, изолированном от постороннего глаза, в местечке Белые Камни, в пяти километрах от города. Даже самый проникательный агент сигуранцы не смог бы ничего заподозрить. Лесник выдавал себя за неграмотного. Он был инвалидом войны и устроился на работу через организацию инвалидов, сирот и вдов войны. Звали его Павел Сурдукан. У него был сын Мейлэ — ученик седьмого класса частного лицея. Печатал листовки Мейлэ вместе с профессиональным типографом, перешедшим в подполье по указанию партии и жившим в доме лесника. Доставлял материалы сам лесник. У него была одноконная повозка, и никто на свете не мог догадаться, что в молочных бидонах с двойным дном находилось не только молоко, но и плотные пакеты отпечатанного материала.

Один раз в неделю лесник приезжал в город. Он вез в своей повозке грибы, ежевику, свежий овечий сыр, сметану и молоко. Молоко он регулярно привозил и тете Вете. Остальное отвозил на рынок, товар его шел нарасхват — продуктов тогда не хватало. Через час с видом человека, которому нет дела до того, что в мире происходит такое событие, как война, он спокойно возвращался к себе домой. Тем не менее лесник был одним из тех людей, из-за кого Вартиадис лишился сна и покоя.

В связи с печатанием материалов по случаю празднования Дня героев типографы работали несколько суток без отдыха. Им хотелось хорошо отпечатать этот материал, так, чтобы краска не расплывалась, чтобы буквы не прыгали, не ложились криво на бумагу. Одним словом, это была работа особой важности, и она им удалась,

Когда весь материал был отпечатан и высохшая краска больше не расплывалась, наступил самый опасный момент операции — доставка его в город. Лесник уже много раз проделывал путь от Белых Камней до города. Каждый раз он выезжал на своей скромной повозке, опасаясь, как бы не обнаружили подпольную литературу, и возвращался спокойный, довольный собой: ему казалось, что эта работа не так уж опасна и что напрасно он боялся.

Павел Сурдукан вернулся с фронта с ампутированной до самого плеча рукой и по совету Копэчана с явной гордостью носил все, свидетельствовавшее о том, что он побывал на фронте и является настоящим героем: нашивку инвалида на рукаве, выцветший на солнце военный китель и медаль «За храбрость и веру», причем не планку, которая едва заметна, а медаль. Все это действительно придавало Павлу Сурдукану вид героя войны. Он не оплакивал свою потерянную на войне руку, а, наоборот, больше хвалился своими подвигами на фронте. И никто не мог даже подумать, о чем на самом деле думает лесник, какую работу выполняет.

За два-три дня до намеченных торжеств, в назначенный для связи с городом час Павел Сурдукан выехал на своей одноконной повозке на шоссе, где он знал каждый камень, каждый кювет. Возможно, как раз в связи с торжествами при въезде в город был установлен контрольный пост.

На повозке Сурдукана стояла корзина, накрытая грязной сеткой, где метались и кудахтали три курицы, другая была с яблоками, сладкими, скороспелыми, и еще стояли два бидона с молоком, наполовину зарытые в сено, чтобы не расплескалось молоко.

Павел Сурдукан издали заметил странную группу людей, которые сновали взад и вперед у въезда на мост, где шоссе покидало лесистые холмы и вбегало в город. У моста стояли мужчина в штатском, сержант полиции и двое одетых в походную форму солдат из полка пограничных войск. Штыки винтовок блестели, как длинные сосульки льда, на голове у солдат были стальные каски, у пояса висели противогазы.

Начальником этого контрольно-пропускного пункта был, видимо, человек в штатском. Кроме сержанта полиции, Павел Сурдукан никого больше не знал из этой

группы людей. Сержанта же он часто видел на рынке, когда тот с самодовольным видом проходил по рядам.

Вернуться назад было уже невозможно. Во-первых, это вызвало бы подозрение и солдаты моментально догнали бы его, а во-вторых, нужно было во что бы то ни стало быть в городе и передать листовки, спрятанные в двойном дне двух бидонов.

Деваться было некуда, и Сурдукан подъехал к мосту с надеждой, что его военный китель, нашивка инвалида и награда на груди произведут на этих людей некоторое впечатление. Однако по приказу человека в штатском он вынужден был сразу же остановиться.

— Откуда едешь, герой?

— Разве не видно, господин начальник?

Сурдукан выпятил грудь, на которой, ударяясь о металлические пуговицы, зазвенела медаль.

— А что ты везешь тут? Ну-ка посмотрим!

— Везу, дорогой господин, на рынок три курицы и корзину яблок. Прошу вас, попробуйте, они хорошо утоляют жажду...

Штатский заметил бидоны, снял крышку с одного из них и заглянул внутрь.

— Там у меня молоко, дорогой господин. Молоко, правда, не цуйка, но все же...

Человек в штатском поморщился, как будто ему предстояло ступить в лужу и очень не хотелось при этом пачкаться. Он повернулся к одному из солдат:

— Возьми кнутовище и измерь, сколько там молока.

Сурдукан догадался, что этот господин хочет засунуть деревянный прут в бидон, чтобы установить, нет ли в сосуде двойного дна. Солдат поспешно взял кнутовище, человек в штатском отошел на пару шагов от повозки и начал есть яблоко. Лесник почувствовал, как на шее и спине у него появился холодный пот.

«Значит, все кончено!» — мелькнуло в его голове.

Солдат взял кнутовище, сунул его в бидон и быстро вынул.

— А теперь измерь бидон снаружи, — сказал, ухмыляясь, штатский.

Солдат сунул кнутовище в сено у бидона и ответил:

— То же самое!

Затем вытер кнутовище о ладонь и протянул его Сурдукану.

— Проезжай, — разрешил человек в штатском и, повернувшись спиной к повозке, отошел в сторону. В это время к мосту приближалась группа молодых крестьянок, которые несли на головах сплетенные из прутьев корзины.

Сурдукан поехал дальше и, только достигнув конца моста, рискнул обернуться. Мысленно обращаясь к стоявшему на том же месте солдату, Сурдукан поблагодарил его: «Видать, хороший ты парень. Ты же спас меня от большой беды!»

Сурдукан сообщил об этом случае Копэчану, а солдат, в свою очередь, доложил об этом же капитану Павлу Брия.

— Спасибо тебе! — просто сказал капитан.

Но Вартиадис подозревал, был почти уверен, что «техник» коммунистов находится в городе и что между этим «техником» и рабочими типографии «Семеникул» существует самая тесная связь.

Год тому назад сын лесника Мейлэ был принят на работу корректором в типографию «Семеникул». Ему исполнилось тогда восемнадцать лет. Казалось, он был очень доволен тем, что приобретает «господскую» специальность и с карандашом в руке ищет в длинных гранках грамматические ошибки. В то время старший мастер Франтишек больше в шутку, чем всерьез, учил его разбираться в шрифтах, учил простой технике ручного набора. Мейлэ Сурдукан часами простаивал у наборных касс. Ему было интересно набирать и верстать буквы, которые составляли его имя, связывать набор бечевкой, печатать маленькие и еще не вполне совершенные визитные карточки.

Так он несколько месяцев занимался работой, которая напоминала невинную детскую игру. Это продолжалось до тех пор, пока однажды он не сказал себе: «Все! Теперь я сумею легко и быстро набрать не только текст визитной карточки или приглашение на свадьбу, но и целое стихотворение». Наступила осень 1943 года. Под предлогом того, что ему необходимо готовиться к экзаменам, чтобы продолжить учебу в лицее, Мейлэ ушел из типографии.

Вскоре работники типографии «Семеникул», кроме, конечно, Франтишека и двух-трех рабочих, забыли и да-

же не вспоминали его, будто никогда и не приходил сюда веселый и любознательный молодой человек, которого звали Мейлэ Сурдукан. Когда же на улицах города появлялись листовки, у Франтишека от удовольствия начинали блестеть глаза. Его взгляд как бы говорил: «Молодец, мальчик! Все идет хорошо, даже очень хорошо!»

Как-то утром в понедельник в типографии «Семенкул» появился вновь принятый рабочий. Звали его Николае Фуйорович. Франтишек знал, что Ливиус Косма не только не собирался нанимать новых рабочих, а, наоборот, намеревался уволить нескольких старых, и поэтому появление в типографии Фуйоровича удивило его. Вновь принятый рабочий сказал, что несколько месяцев был безработным, и вид у него был настолько несчастный, что подозрения Франтишека начали рассеиваться. И все-таки он немедленно сообщил через связного о появлении в типографии нового, так неожиданно нанятого рабочего и получил указание остерегаться провокаторов, быть все время настороже.

Вначале в течение двух-трех недель Фуйорович старательно делал свое дело и казался чрезвычайно счастливым оттого, что после изнурительного периода безработицы снова получил работу. Он был наборщиком. Он верстал, правил корректуру, набирал заголовки, и все это с такой кротостью и послушанием, что выводил из себя Франтишека, у которого все сильнее складывалось мнение, что этот молчаливый лицемер со своим подозрительным трудолюбием в действительности является хитрым и опытным агентом сигуранцы.

Фуйорович старался быть любезным и спешил поскорее обзавестись друзьями. При получении первой двухнедельной зарплаты он пригласил Франтишека в пивной бар «Стойкович». Франтишеку совсем не хотелось идти, но он принял приглашение Фуйоровича с притворной радостью. Усевшись напротив Фуйоровича, он старался меньше говорить сам и больше слушать. Фуйорович, напротив, был весьма общителен и болтал без устали. Франтишек внимательно рассматривал Фуйоровича, подобно человеку, пришедшему в театр и усевшемуся в кресло первого ряда у раковины оркестра, чтобы разглядеть, чего не хватает в игре артистов, заметить поддельный ус и парик, бородавку из черной бумаги, грубо наведенные карандашом круги под глазами...

Охмелев от нескольких жадно выпитых кружек пива, Фуйорович начал охоть и рассказывать о временах, когда был подмастерьем и жил «в жуткой нищете». Он даже всплакнул, вспоминая свое прошлое. Да, он прекрасно вошел в роль. Возможно, и опьянел к тому же: ведь он выпил четыре кружки пива и столько же рюмок рома.

Получив указание остерегаться провокаторов, Франтишек выдавал себя за беззаботного и малоразговорчивого человека; выпил он только одну кружку пива. За свою жизнь он много пережил, судьба не раз устраивала ему ловушки. Вот почему у него выработалась привычка мало говорить и тщательно обдумывать каждый свой шаг.

Фуйорович брал пальцами соль и сыпал ее в кружку с пивом.

— Не знаю, поверишь ли ты мне, не знаю, удобно ли об этом говорить сейчас, но я всегда боялся политики, — пустился он в признания. — Однажды ко мне зашел какой-то человек и начал предлагать мне кое-что, хотел впутать меня в опасное дело. А я испугался. Ведь у меня жена и двое маленьких детей. Зачем мне совать голову в петлю? Кто знает, может быть, меня уже не было бы в живых или гнил бы я сейчас в тюрьме.

Фуйоровичу нравилось рассказывать все о своей жизни. Он делал это без всякого стеснения, будто желая показать: «Такой уж я человек, и никто меня не переделает». Он сознательно напирал на свои пороки, считая, что его подчеркнутая искренность будет воспринята как знак расположения и симпатии.

Однако Франтишеку, который не был любопытным, скоро опротивели все эти признания Фуйоровича. Несмотря на его протесты, Франтишек оставил его одного и ушел домой.

На второй день Фуйорович смиренным тоном сказал Франтишеку, что вчера перепил и наговорил много лишнего. Франтишек ответил, что он все забыл.

По окончании работы Фуйорович пригласил на кружку пива машиниста из ротаторной. Франтишек увидел, как они вместе пошли в пивную, и ему опять стало противно.

Спустя несколько дней Фуйорович зашел в небольшую механическую мастерскую, которая была отделена от наборного цеха стеной из тонких досок, и сказал Фран-

тишкеку, что хочет показать ему что-то важное, причем только с глазу на глаз.

Фуйорович вынул из кармана бумагу в половину листа тетради, развернул ее и показал Франтишкеку. Это была листовка, недавно отпечатанная «техником» местной партийной организации. Франтишек, разумеется, сразу узнал ее. Однако он взял ее в руки, посмотрел с обеих сторон и с хмурым видом, как будто не понимая, в чем дело, вернул Фуйоровичу.

— Что это? — спросил Франтишек.

— Я нашел ее в почтовом ящике у ворот дома...

— И что ты намерен сделать с ней? Хочешь опять потерять работу?

Теперь Франтишек окончательно убедился в том, что Фуйорович — провокатор, и спокойно сказал ему, сдерживая негодование:

— Нужно показать эту бумажку господину Ливиусу. Он знает, как с ней поступить.

Поколебавшись с минуту, Фуйорович сказал:

— Вы правы, господин Франтишек. Лучше всего показать ее хозяину.

Фуйорович произнес эти слова с таким видом, будто ему неприятно решаться на такой шаг.

Он с прежним усердием принялся работать за своим верстальным столом. Почти всех рабочих по очереди водил он с собой в пивную, молот там всякий вздор, признавался, что только в одном видит удовольствие — в выпивке и женщинах. Время от времени он заводил разговор и на другую тему. «Как же это так получается? Одни живут как у Христа за пазухой, а другие — в нищете! Кто-то покупает себе ящиками шампанское, а я после кружки пива и рюмки рома боюсь идти домой, боюсь, что жена устроит скандал». После подобных признаний собеседник начинал уговаривать его бросить пить. Фуйорович слушал с обреченным видом.

Наступил июль, в городе стояла небывалая жара. Протекавшая через город речка высохла, но в водохранилище электростанции уровень воды сохранялся высоким. Здесь жители и спасались от жары, раскалившей тротуары и стены домов в городе.

Как-то в субботу Фуйорович услышал, что группа работников типографии договорилась встретиться в воскресенье на пляже у электростанции. Туда же явился и он

с женой и двумя детьми. Одному из его сыновей было около восьми лет, а второму — около десяти. Были они грязными и неухоженными, будто росли без родителей.

— Хочу познакомить вас с моей супругой, — сказал Фуйорович и представил свою жену.

Она казалась симпатичной, но придавленной нуждой женщиной. Не переставала жаловаться на войну, которой нет конца и из-за которой не хватает одежды, обуви и продуктов, чтобы дети могли расти по-человечески.

— Будь проклят тот, кто затеял ее, — заключила она.

Фуйорович, казалось, был смущен разговорами своей супруги и, обращаясь к типографам, как бы оправдывался:

— Что вы хотите, она тоже хочет быть счастливой. Но она, как слепая, не видит, в какое время мы живем...

Дети Фуйоровича весь день вели себя шумно и непослушно. Они беспрерывно просились купаться, передрались с другими ребятами. Отец надрал им уши, отвесил по оплеухе, приговаривая: «Они меня в гроб загонят. Не дадут спокойно поговорить о делах».

Расстелили скатерть, и каждый выложил захваченные с собой припасы. Обедали все вместе. Неожиданно Фуйорович вынул из сумки четыре бутылки вина.

— Зачем это ты взял столько вина? — удивились другие.

— Вино я купил по дороге сюда, — объяснил Фуйорович. — Мне оно понравилось, и к тому же дешевое. Я подумал, что нам с женой хватит его недели на две. Но ведь не нести же его теперь домой. Бутылки тяжелые, черт бы их побрал. Давайте пить, а там видно будет...

С того воскресенья Фуйорович, как чертополох, прицепился к тем рабочим, с которыми встретился на пляже. Без предупреждения он со всей своей семьей заявлялся домой к этим людям, всегда у него было с собой вино. Он интересовался всем, что было в доме, любил осматривать полки с книгами, подолгу задерживался около них, разглядывал каждую книгу. Просил, чтобы некоторые книги дали ему почитать дома, и явно стремился завязать дружбу с этими семьями. Уходя, он приглашал хозяев заходить к нему, хвастался, что у него есть старый, но еще хороший патефон и около десятка пластинок.

Его тактика, довольно умелая и правильно рассчитанная, могла бы в конце концов дать свои результаты. Над

членами партийной ячейки в типографии нависла бы серьезная опасность, если бы Франтишек или кто-либо другой из коммунистов поддался на провокацию Фуйоровича. Случай с листовкой убедил Франтишека, что перед ним враг. По многолетнему опыту подпольной работы Франтишек знал, что ни один коммунист не будет показывать партийный документ незнакомому человеку, как это сделал Фуйорович. С этого дня Франтишек укрепился в своем подозрении, что новый работник типографии — провокатор, выдавший себя своей поспешностью. Когда он сообщил в партакорпус о случае с листовкой, Франтишека предупредили, чтобы коммунисты старались поменьше иметь дело с Фуйоровичем. А тот пока еще не подозревал, что все его старания напрасны, что игра его разгадана.

После нескольких недель безрезультатной слежки Вартиадис понял, что его агент ничего не добьется, и решил отозвать его. Вартиадис убедился, что ячейка типографии «Семенкул» представляет собой крепость, внутрь которой не сможет проникнуть никакой троянский конь. Когда Франтишек узнал, что Фуйорович «перевелся в город Тимишоару, где он подыскивал себе более подходящее место», на лице его промелькнула злая усмешка, потом он с облегчением вздохнул, словно у него гора свалилась с плеч.

9

Началась новая волна военных реквизиций для нужд фронта. Местная партийная организация по указанию областного комитета партии должна была организовать мощное сопротивление реквизиции. В десятках сел были распространены листовки, в которых коммунисты призывали крестьян прятать упряжки, закапывать зерно в землю, не являться в реквизиционные комиссии.

Работа была тяжелой и сложной, в ней принимали участие сотни человек. Живущие в своих родных селах и работавшие на шахтах в городе Анина шахтеры тоже участвовали в этой работе. Скоро разъяснительной работой была охвачена вся территория уезда. Жандармы не знали покоя ни днем ни ночью. Выполняя строгие приказания префектуры, они формировали обозы и под кон-

воем приводили их на реквизиционные комиссии, которые работали с шести часов утра до десяти часов вечера — уже при свете фонарей. Комиссии располагались на площади перед казармами пограничного полка. Огромная шестиугольная площадь была забита, как скотный рынок, сотнями крестьянских повозок. Комиссиям было предписано действовать быстро и без проволочек. Гитлеровский фронт требовал новых обозов, новых составов с продовольствием. Из народа выжимали последние соки.

Комиссии состояли из офицеров и подофицеров интендантской и административной службы, преторов и писарей. Работали они с надлежащим старанием и строгостью. Костлявых, худых лошадеенок крестьян принимали, а упитанных, здоровых лошадей кулаков и крупных землевладельцев браковали. Кузнецы выжигали каленым железом на крупах лошадей номера и даты реквизиции. У столов, за которыми работали комиссии, с утра до вечера пахло горелым мясом и жженым волосом. Работа шла споро, и никто и не подумал бы, что могут возникнуть какие-нибудь недоразумения. Реквизированные лошади и повозки быстро распределялись по ротам. Первый маршевый батальон уже был отправлен на фронт.

Комиссии делали двухчасовой перерыв на обед. За столами оставались многочисленные писаря, большинство которых было призвано на краткосрочную военную службу. На них и напускались бедные обиженные крестьяне со своими жалобами и причитаниями. Писаря только беспомощно пожимали плечами.

— Баде¹, что же мы можем сделать? — отбивались они. — Мы не можем спасти ваших лошадей от реквизиции.

— Господин писарь, неужели вы не видите, что моя лошадь хромоногая?

Лошадь действительно была калекой. Крестьяне удивлялись, что военные ветеринары и строгая комиссия не замечали явных изъянов животных.

— Конь вполне подходящий!

— Слышите, как он хрипит? Как же он сможет тащить ящики с боеприпасами по фронтовым дорогам?

За реквизированных лошадей крестьяне получали кви-

¹ Баде — почтительное обращение к старшему по возрасту.

танции. Они смотрели на листы желтой бумаги как на свидетельство о смерти и уходили.

Некоторые писаря, возмущенные тем, что комиссия творила, не стыдясь, на их глазах, шепотом говорили:

— Баде, что вы здесь мозолите глаза? Ступайте вон в тот ресторан; если у вас есть деньги, может, чего-нибудь добьетесь. За бутылку рома и обед старшине-ветеринару вы все уладите и вернете себе коня.

Партийная организация распространяла листовки и в городе, особенно на площади, где происходила реквизиция. Крестьяне обнаруживали листовки на повозках, на деревянных скамейках сквера в центре площади. По-видимому, листовки расклеивались ночью, когда сотни крестьян спали, как на огромном бивуаке, в своих повозках. Листовки были отпечатаны типографским способом, и текст их был одинаковым. В найденных, собранных и подшитых в огромное «дело» листовках Вартиадис и префект прочитали: «Румынский народ! Долой преступную войну на стороне немцев! Долой клику предателя Антонеску! Гони с оружием в руках гитлеровских захватчиков с оскверненной земли родины!»

В ресторан «Золотой петушок», расположенный в стороне от площади, как обычно, в полдень пришла пообедать часть членов комиссии. Здесь были капитан административной службы, майор ветеринарной службы, гражданский ветеринар, три подофицера, претор и два писаря. Они расселись за разными столиками по всему ресторану. Играл оркестр. Скрипач Милуцэ Блынду подходил к каждому столику и исполнял заказанную музыку. Вместе с официальными лицами за столами сидели местные богатеи. Никто и не подозревал, что ресторан находился будто на kloкочущем вулкане.

Некоторое время спустя в ресторан вошли два крестьянина в грязной одежде, с обросшими щетиной лицами. Казалось, они кого-то искали. Проходя между столами, они нечаянно опрокинули стул, на котором лежали португези, фуражки и шляпы. Крестьяне извинились, но один из сидящих за столом гражданских набросился на них:

— Что вам нужно в ресторане? Что это вам, бодега?¹

Крестьяне насупились, но ничего не ответили. Они

¹ Бодега — пивная, трактир.

подняли упавшие со стула вещи, еще раз попросили прощения и прошли дальше. У столика в третьем или четвертом ряду они остановились и сняли шапки. За столиком сидел человек, которого они искали. Это был старшина-ветеринар, толстый, с покрасневшимся и вспотевшим от обильной трапезы лицом. Он пил пиво из огромной кружки и уплетал мититеи¹, которыми доверху была наполнена тарелка. За этим же столом сидели три хорошо одетых крестьянина, по-видимому кулаки. У одного из них усы были в пивной пене, и он все время смеялся, щуря глаза. Вместе с ними за заставленным пивными кружками и едой столом сидела вульгарного вида женщина. Крестьяне называли ее госпожой, а старшина — «дорогая Бежи». Это была одна из женщин, специально нанятых на «работу» в ресторан «Золотой петушок». В зале сидели и другие из «работавших» здесь женщин, и их визг доносился из-за густых облаков табачного дыма. Сидевшая рядом со старшиной особа была дородной женщиной.

— Дорогая Бежи, скажи нам, отчего ты так толстеешь? — повторял старшина, а все кругом весело смеялись.

Два вошедших в ресторан крестьянина остановились у стола и ждали, чтобы их заметили. Видя, что никто не обращает на них внимания, один из них осмелился обратиться к старшине:

— Господин Замфир, с вашего позволения, у нас к вам просьба.

— Что, по поводу комиссии? — спросил старшина.

— Да, господин старшина.

— Вы не видите, что я занят?

— Видим, господин старшина, но нам очень нужно поговорить с вами...

— Оставь в покое господина старшину! — вмешался один из собутыльников. — Что ты морочишь ему голову?

— Дорогой господин, у нас большое несчастье. У нас забрали лошадей... — продолжал крестьянин.

Кулак, к которому крестьянин обратился со словами «дорогой господин», немного подобрел и ответил:

— Мы такие же крестьяне, как и вы. И нам не сладко. Или вы думаете, что мы устроили какую-нибудь сделку?

¹ М и т и т е и — румынское национальное блюдо, похожее на котлеты, жареные на вертеле.

Крестьянин недоверчиво посмотрел на кулака. Видимо, он действительно считал, что сделка уже совершилась. Иначе зачем им сидеть за этим столом? Крестьянин угрюмо сказал:

— Может быть, у нас нет таких возможностей, как у других, но мы тоже найдем кое-что. Мы можем привезти господину старшине повозку дров или мешок орехов...

По своей наивности крестьянин сказал несколько больше, чем можно говорить при свидетелях. Старшина вдруг повернулся к нему и ударил кулаком по столу:

— За кого ты меня принимаешь? Что я, взяточник? Конокрад? Вор? Грабитель? — В следующее мгновение он поднялся со стула и изо всей силы ударил крестьянина по лицу. Тот, ошеломленный, пошатнулся и, закрыв большими ладонями лицо, испуганно спросил:

— За что бьете, господин старшина?

Старшина еще раз сильно ударил его кулаком.

— За что бьете? За что? Что я сделал?

В ту же минуту, словно обезумев, крестьянин набросился на старшину, схватил его за горло, зажал между столами, продолжая непрерывно повторять, но уже с угрозой:

— За что бьешь? Кто я тебе? За что бьешь?

Он бросил старшину на пол между столами, сел на него верхом и начал колотить руками. Второй крестьянин выбежал на улицу и крикнул, обращаясь к ожидавшим начала работы комиссии крестьянам:

— Люди добрые, помогите! Господа убивают бедняков!

Меньше чем через полчаса ресторан «Золотой петушок» превратился в настоящее поле битвы. Прибежавшие с площади крестьяне начали бить витрины. Завязалась жестокая драка, в которой участвовало несколько сот человек. Шум и грохот стояли невообразимые.

Кто-то сообщил об этом властям, и прибывшая из казармы пограничного батальона стрелковая рота окружила ресторан. Все утихло только после винтовочного залпа в воздух. Крестьян, как стадо овец, загнали в широко раскрытые ворота казармы. На площади остались одни повозки с лошадьми. Все входы и выходы с площади охранялись кордонами солдат.

Быстро прибывшие на место происшествия префект полковник Попеску-Зимнича, военный прокурор, Бартиа-

дис, начальник прокуратуры и множество комиссаров и агентов начали следствие. У нескольких крестьян Вартиадис обнаружил листовки. При обыске повозок также было обнаружено много листовок, которые призывали бороться против клики Антонеску и против гитлеровцев.

Тридцать пять крестьян были задержаны, некоторые из них были ранены и истекали кровью. Вступившего первым в драку крестьянина нашли между столами с тремя ножевыми ранами. Его отправили в военный госпиталь, где доктор Ванчиу оперировал его. Однако в ту же ночь крестьянин умер, и его отнесли из операционного зала в морг, размещенный в подвале госпиталя.

Ванчиу был подавлен этим случаем. «А я даже не знаю его фамилии», — сказал он Елене.

Бунт крестьян не остался без последствий. Вартиадис подробно сообщил обо всем в Бухарест. Объяснительная записка Вартиадиса была доставлена в канцелярию маршала Антонеску во время заседания совета министров, которое состоялось 15 июля 1944 года. Выслушав рапорт начальника секретной службы Еуджена Кристеску, маршал взял заведенное по этому поводу дело и красным карандашом на первой странице начертал: «Ничему не верю. Объяснительная записка явно пораженческая!» Ниже следовала подпись: «Й. Антонеску». Потом, недовольный своей резолюцией, схватил дело, бросил его в сторону Еуджена Кристеску и грозно крикнул:

— Я вас поставлю к стенке!

После этого маршал повалился в кресло и обхватил руками голову. В зале заседаний совета министров наступила мертвая тишина.

Через несколько минут маршал пришел в себя и отпустил министров, приказав остаться начальнику секретной службы. Спустя полтора часа бледный как полотно Еуджен Кристеску покинул виллу в Снагове, где проходило заседание совета министров, бросился в ожидавшую его в парке машину и приказал шоферу гнать во всю мочь в Бухарест. На другой день утром в присутствии специально прибывшего из Бухареста уполномоченного сигуранцы военно-полевой суд города Тимишоары начал дознание по делу арестованных крестьян.

Расставленные перед рестораном «Золотой петушок» столы для комиссии по реквизиции быстро исчезли, суетня людей и стук повозок на площади прекратились. Рек-

визия теперь проводилась по селам под охраной усиленных жандармских отрядов. Отремонтированный через две-три недели на пожертвования, как говорили, патронажного совета ресторан «Золотой петушок» принял прежний вид.

Ежедневно во второй половине дня прохожие могли видеть через окна ресторана «Золотой петушок» представительную фигуру господина Ливиуса Космы. Теперь он достаточно громко говорил даже в присутствии некоторых представителей городских и уездных властей о «войне, которая, господа, уже проиграна на девяносто девять процентов».

Оставшийся один процент был его небольшим стратегическим резервом.

10

События развивались так стремительно, что внимательный наблюдатель без особого труда мог бы заметить, как многие из известных до войны политических фигур, которые до сих пор были не у дел и занимали какую-то странную позицию безразличия ко всему или питали явную симпатию к фашизму, теперь не хотели, чтобы события застали их врасплох.

Как-то Ливиуса Косму посетил его хороший знакомый из города Тимишоары — адвокат Кориолан Добреску. Он служил адвокатом в юридическом отделе Решицких заводов.

Кориолан Добреску подъехал на собственной машине «вандерер» выпуска 1937 года прямо к дому Ливиуса, но служанка сказала ему, что господин сейчас в типографии. Это было накануне выпуска очередного номера газеты «Семеникул», и Ливиус, как всегда в последнее время, сам следил за версткой газеты.

Добреску нашел Ливиуса в типографии. Тот был в светло-зеленых брюках из тонкой шерсти и надетой на ажурную майку льняной, с короткими рукавами рубашке. Чтобы не испачкаться, он надел на себя рабочий фартук, и тем не менее весь был измазан клейкой типографской краской. Черные пятна были у него даже на лице и на лбу. Типография была небольшая, но использовалась на полную мощность. Небольшой ротатор был привезен в

1942 году из Нюрнберга. Размещалась типография в двух мастерских, разделенных стеклянной стеной. В одной мастерской, где в то утро находился Ливиус, помещались ящики со шрифтами и два линотипа. Тут же помещались еще три машины: одна — для печатания визитных карточек, другая — для набора заголовков и линотип.

Кориолан Добреску виделся с Ливиусом еще зимой, когда они вместе играли в бридж в игорном доме в Тимшоаре.

Когда Добреску вошел в типографию, две страницы газеты «Семеникул» были готовы для печатания. Издали заметив Ливиуса, Добреску поднял руку, в которой держал белую шляпу, и позвал его:

— Что ты, дорогой, здесь делаешь?

— Работаю,— ответил Ливиус.— Завтра должен выйти номер газеты.

Добреску прошел между металлическими столами, с любопытством останавливаясь на каждом шагу. Взяв в руки гранку, он с улыбкой спросил:

— Что ты печатаешь здесь? Ну-ка посмотрим.

— Кориолан, не трогай гранки, ты же испачкаешься краской!

— Ничего. Я хочу знать, что за линию ты гнешь.

Добреску взглянул на гранку и громко, как пономарь, прочитал:

— Объявление о похоронах. Звон колоколов и отпевание — восемьсот лей. Копание ямы для могилы — сто лей. Оформление могилы — четыреста лей. Установка креста — сто лей.

Объявление было длинным, и Кориолану оно показалось скучным.

— Что это, дорогой мой Ливиус? Неужели ты стал могильщиком? Как ты постарел! Ты что, отдал типографию в распоряжение греко-ортодоксальной церкви? Остается тебе самому отпустить бороду, как у архимандрита.

— Перестань! Что ты нашел здесь смешного? Это заказ нашего прихода. Тебе не нравится? Но ведь предприятие должно работать! Газета приносит мне только убытки и неприятности. Мне нужно покрыть дефицит, вот я и вынужден печатать всякую чепуху.

— Я вижу. Объявления о похоронах, визитные карточки, приглашения на свадьбу, объявления, афиши, уведомления... Ливиус, будем серьезными. Ты же должен

играть крупную роль, а я вижу... незадачливого провинциала.

— Ты что, приехал читать мне мораль?

— В какой-то степени — да!

— Ну что ж, продолжай. Я слушаю.

Кориолан стал серьезным. Он подошел к Ливиусу, положил руку на его плечо и сказал:

— Я должен поговорить с тобой, но не здесь.

— Сейчас я не могу. Через час закончу верстку газеты, тогда и поговорим.

— Поручи это кому-нибудь.

— Так и быть. Франтишек, я оставляю вас за себя. Продолжайте верстку!

— Полосы посылать вам домой?

— Нет, не домой. В ресторан «Золотой петушок».

Ливиус направился к крану в глубине помещения и спросил оттуда:

— Франтишек! Неужели у вас здесь нет ни мыла, ни полотенца?

— Я же просил вас выдать деньги на мыло и полотенце, но вы сказали, что мы должны покупать сами.

Ливиус попытался вытереть руки листом бумаги и снятым с себя фартуком, но еще больше перемазался. Так и пошел. Они вышли на улицу и сели в машину. Заведя мотор, Кориолан спросил Ливиуса:

— Ты думаешь о будущем?

— О каком будущем?

— Что ты собираешься делать, когда к власти придут коммунисты?

— Коммунисты?

Ливиус был потрясен. «Да, да, коммунисты!» — как бы подтверждал взгляд Кориолана.

— Когда-то ты был цэранистом, а не коммунистом, — напомнил ему Ливиус.

— Я и теперь цэранист, дорогой мой, и ничуть не изменился. Как раз поэтому приехал к тебе, чтобы посоветоваться. Правительство Антонеску, кажется, доживает последние дни.

Выехали на площадь, и Кориолан остановил машину около ресторана «Золотой петушок». Здесь все было новым: от больших окон до полотняных разноцветных зонтиков над выстроенными в ряд на широком тротуаре столами. Показывая глазами, Кориолан спросил:

— Это здесь был шум?

— Здесь. Могло бы кончиться очень плохо.

— Вот видишь? Мы очень долго выжидали... Надо забрать поводья из рук коммунистов.

Вошли в ресторан. В это время дня он обычно был пустым. На возвышении для оркестра стояли покрытые белыми чехлами цимбалы, контрабас и пианино. Из кухни шел резкий запах перца. Один из официантов клевал носом над развернутой газетой, а второй со скучающим видом стоял у бильярдного стола и толкал рукой эбонитовые шары. Ударяясь, шары издавали звук, напоминающий звук открываемых пивных бутылок. Ливиус подошел к официанту:

— Дорогой Алоис, я приехал из типографии весь в краске.

— Но у нас нет мыла. Мыло вы найдете только там, наверху, у барышень...

— Ты хотел сказать, у дам?

— Совершенно верно.

— Ладно. Отведи меня к одной из этих дам.

— Пожалуйста, господин доктор, следуйте за мной.

— Дорогой Ливиус, где ты столько времени пропал? — спросил его Кориолан, которому надоело ждать.

— Мылся,— начал оправдываться Ливиус, но Кориолан быстро сменил тему:

— Я попросил у официанта две чашки кофе, а он мне сказал, что ты носишь кофе с собой.

— Ни в одном ресторане нет настоящего кофе.

— Где же ты достаешь его?

— Получаю из Анкары.

— От кого?

— Разве ты не знаешь, что у меня братец работает там советником посольства?

— Он же был в Берне!

— Оттуда, дорогой, его уже давно перевели, он попросил послать его к туркам. К рождеству он прислал мне два ящика винограда и ящик красного вина. Вино—мечта! Алоис, подойди, я дам тебе кофе.

Официант подошел к их столу. Ливиус вынул из кармана пиджака тюбик молотого кофе. Алоис поставил на

стол блюдце, и Ливиус аккуратно отмерил ложечкой две порции кофе. Потом сказал официанту:

— Ты знаешь, какой кофе я люблю?

— Да, господин доктор.

— Три раза довести до кипения в латунном кофейнике и не...

— ...И не мешать ложечкой.

— Пену снять после первого кипения.

Когда Алоис отошел, Кориолан сказал своему другу:

— Оказывается, ты живешь совсем не по-монашески.

— Что поделаешь, дорогой. Нужно же как-то бороться со скукой.

— Значит, я приехал вовремя, чтобы вырвать тебя из этой скуки.

— Жду, что ты мне предложишь.

— Меня послал к тебе старик Север Лобонциу. Сначала я заехал на вашу усадьбу и повидался с твоим папашей. Он мне посоветовал поговорить с тобой.

— О чем поговорить?

— Неужели ты не понимаешь? Господин министр Север Лобонциу...

— Проснулась от спячки старая гвардия?

— Так нужно, дорогой. К этому понуждают события. Маршал Антонеску начинает чувствовать, что его голова отяжелела под короной, которую он сам надел на себя. Не понимаешь? Ты помнишь, Генрих Четвертый говорил: «Тяжело голове, на которую давит корона»?

— И что ты намерен делать?

— Нам тоже надо действовать. Иначе в выигрыше окажутся коммунисты.

— Дорогой мой, их же никто не знает. У коммунистов нет выдающихся личностей, нет традиций. За ними никто не пойдет.

— Я не могу с тобой согласиться.

— «Исторические» партии опять займут свое место, которое занимали до войны.

— За это надо бороться, — заявил Кориолан.

Алоис вернулся с подносом, на котором стояли две дымящиеся чашки кофе. Помещение ресторана по-прежнему было пустым. В полдень появился Вартиадис. Он направился прямо к их столу. С Кориоланом он был хорошо знаком: они учились на одном курсе юридического факультета.

— Каким ветром тебя занесло сюда? — спросил его шеф сигуранцы. Кориолан ответил вопросом на вопрос:

— Что это, допрос?

— Нет, дорогой, это всего лишь любопытство.

В разговор вмешался Ливиус:

— Тогда ты можешь признаться ему, Кориолан, что господин министр Север Лобонциу послал тебя сюда для информации и установления связи.

— Это секрет полишинеля, — сказал Вартиадис.

— Вам известно все, но о коммунистах вы знаете очень мало, — сказал Кориолан.

Вартиадис промолчал. Потом подозвал Алоиса и попросил принести что-нибудь поесть.

О чем они с таким жаром спорили, вскоре уже не было слышно. Пришли музыканты и начали играть. Песенка была всем известная — «Лили Марлен».

— Я по горло сыт этой белокурой и испорченной немкой, поющей о своей любви у ворот солдатской казармы, — заявил Кориолан.

Ливиус возразил:

— Но это все же лучше, чем «Интернационал».

В казарме пограничников лихорадочными темпами шло обучение второго маршевого батальона; он должен был присоединиться к тому батальону, который был отправлен на фронт в конце июня. Одному капитану, одному лейтенанту и шестнадцати сержантам — в каждом взводе было по одному сержанту, присланному командованием немецких войск из Тимишоары, — предстояло в короткое время обучить батальон военному искусству. Гусиный шаг, повороты на месте и на ходу, умение обращаться с оружием, форсированные марши, атаки, рытье индивидуальных окопов, стрельба из винтовки и автомата, бросание гранат — вся эта учеба проходила по системе подготовки гитлеровской армии, по ее методам. Грубый приказ, запугивание, карцер, частые учебные тревоги, изнурительный бег с полной выкладкой, с бесконечными подъемами и построениями, ругань, издевательства — таковы были эти методы. Недавно из казарм бежали три новобранца: один — серб по национальности, два других — солдаты из города Алмаш. Всех ошеломила весть о том, что солдаты бежали с оружием и полным снаряжением. Чтобы

предупредить дезертирство, солдатам запретили выходить из казармы, и ночью огромное помещение превращалось в военную тюрьму. Повсюду были выставлены усиленные посты часовых, установлены проволочные заграждения. Переключка проводилась по четыре раза в день. В целях безопасности оружие у новобранцев забрали и сложили в запертые, находящиеся под строгим контролем склады. Новобранцам же выдали деревянные винтовки. Настоящими винтовками были вооружены только часовые.

У ворот казармы ежедневно можно было видеть группы крестьян из соседних сел; они стояли с полосатыми котомками на плечах и молча, терпеливо ждали, чтобы увидеть, хотя бы на несколько минут, своих мобилизованных в армию и зачисленных в маршевый батальон сыновей. Дежурный офицер делал отчаянные попытки разогнать крестьян с помощью угроз. Отогнанные от ворот казармы на сотню шагов, крестьяне продолжали стоять молчаливо и мрачно. Расположившись на деревянных скамейках площади, они проводили здесь целые ночи, невзирая на проливные дожди и летний зной. Эти люди уже хорошо знали друг друга, делились своими бедами, вспоминали прошлое, сражения, в которых им довелось участвовать.

— Когда стреляли во Франца Фердинанда, я был в Сараево, — рассказывал один из крестьян, — стоял часовым. В нескольких шагах от меня из толпы вырвался человек и без промаха выстрелил из револьвера во Франца. Жена Франца только и успела вскрикнуть: «Ах! Иисус Христос!»

— Да, оттуда все и началось...

— Если бы убили меня, императоры бы не огорчились.

— Никто об этом и не слышал бы.

— Ты служил в сорок третьем пехотном полку?

— Нет, я был в Герцеговине, проходил службу вместе с боснийцами.

— А в Добердо был?

— Нет.

— Итальянцы там опрокидывали на наши головы каменные глыбы со скал. Они занимали позиции в горах, а мы атаковали их снизу... Но я уцелел и в восемнадцатом году вернулся домой с красной кокардой на фуражке. Мы хотели сделать революцию и поделить между собой землю, да ничего не вышло.

— Ничего, может, у наших сыновей выйдет...

После убийства Петру Журэску Вартиадис решил арестовать машиниста Марка Лефта Акима: он казался ему подозрительным, хотя никаких доказательств его вины не было. Кроме него Вартиадис наметал арестовать Копэчана. Это была крайняя мера, но ничего другого полиции не оставалось.

Вартиадис решил, что надо создать впечатление, что Журэску предал дело, которому он служил, и все рассказал. Это могло дать известные результаты. Если два железнодорожника, которых намечено было арестовать, действительно окажутся членами коммунистической партии и поверят тому, что Журэску выдал их, тогда сигуранца будет иметь в своих руках крупный козырь.

Однако агенты, прибывшие арестовать Партение Копэчана, не застали его дома: он в это время уехал по заданию в дом лесника. Там ему сообщили, что руководство компартии решило перевести его на нелегальную работу и оставить в доме лесника. Был арестован только машинист Марк Лефта Аким.

Когда нужно было произвести новый арест, Вартиадис действительно работал «без перчаток», цинично и грубо. Так было и на этот раз. Агенты под руководством Вартиадиса явились на квартиру Копэчана и произвели тщательный обыск. Вета, жена Партение Копэчана, подверглась допросу. Он происходил в кухне. Вета продолжала мыть посуду, а Вартиадис сидел у стола. Один из агентов стенографировал вопросы и ответы.

В а р т и а д и с. Итак, вы не хотите сказать, куда ушел ваш муж?

В е т а. Нынешние мужья не очень-то говорят своим женам, куда они ходят и что делают.

В а р т и а д и с. Ваш муж коммунист?

В е т а. Если бы вы были коммунистом, вы сказали бы об этом вашей жене?

В а р т и а д и с. Вопросы задаю я, а не вы. Ваш муж коммунист?

В е т а. Он бедный человек.

В а р т и а д и с. У вас есть дети?

В е т а. У нас был сын. Он был стройным и таким высоким, что в комнате ему приходилось пригибаться: он касался головой потолка. Но фронт проглотил его...

В а р т и а д и с. Что это за разговоры? Как вы можете так говорить? Что значит «проглотил фронт»?

В е т а. Как будто вы не знаете, что это значит! Он его проглотил, как страшное чудовище.

В а р т и а д и с. Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?

В е т а. Что вы, господин, возмущаетесь? Как бы вы заговорили, если бы ваш сын погиб на фронте?

В а р т и а д и с. Опять вы мне задаете вопросы?

В е т а. Дорогой господин, я женщина простая. Первый раз говорю с таким важным господином, как вы. Если я не так говорю, тогда буду молчать как рыба. Больше я ничего вам не скажу. Ох, боже мой, молоко сбежало!

(Стенографировавший беседу агент записал и эти ее слова.)

В а р т и а д и с. А с неким Петру Журэску вы были близко знакомы?

В е т а. Я пожилая женщина, господин, как же вы можете говорить такое? «Близко знакомы!» Неужели вы не видите, что у меня седые волосы?

В а р т и а д и с. Вот глупая женщина! А в каких отношениях находится ваш муж с господином капитаном Мирчей Ванчиу?

В е т а. С господином доктором? Разве этот господин обращает внимание на нас? Он квартирант, и только. Пожаловаться на него я не могу, квартирную плату он платит исправно, но он богатый и разговоров с нами, бедняками, не затевает. Как-то раз я покалечилась и попросила его посмотреть меня, так он потребовал с меня деньги. Я не выдержала и сказала: «Господин доктор, я готовлю вам обед, обстирываю вас, а вы требуете с меня деньги».

В а р т и а д и с. Значит, у вас неважные отношения с ним?

В е т а. Мы вынуждены держать его: зарплаты моего мужа не хватает, ведь с каждым днем все кругом дорожает. Иначе зачем нам был бы нужен капризный квартирант?

В а р т и а д и с. А Марка Лефту Акима знаете?

В е т а. Да, этого человека я знаю. Он работает машинистом на вокзале.

В а р т и а д и с. Он часто заходил к вашему мужу?

В е т а. Не часто, но заходил.

В а р т и а д и с. Они говорили о политике?

В е т а. Они пили водку и играли в карты. Что они там могли говорить? Мне кажется, больше тогда говорила я.

В а р т и а д и с. О чем вы говорили?

В е т а. О чем сейчас можно говорить? Жаловалась, что нет сахара, подсолнечного масла, что не хватает хлеба... Разве ваша супруга не так же думает? Простите, может, я что не так сказала. Может, ваша супруга имеет все, не то что мы...

В а р т и а д и с. Бросьте это!

В е т а. Прошу прощения...

В а р т и а д и с. Вы должны подписать этот протокол.

В е т а. Как вам будет угодно, но у меня в доме нет даже огрызка карандаша, да я уже совсем разучилась писать.

Выйдя из кухни, Вартиадис, едва сдерживая злобу, воскликнул:

— Эта старуха или действительно глупа, как пробка, или в тысячу раз хитрее любого офицера полиции.

Через два дня Октавиану сообщили, что ему необходимо прибыть на важную встречу, которая должна состояться в путевой будке на полпути между Тимишоарой и городом Н. Его предупредили, чтобы он ни в коем случае не ехал поездом.

...На рассвете 9 августа 1944 года через одну из застав города Н. выехала военная машина пограничного батальона. В распоряжение Тави эту машину предоставил Павел Брия. На всякий случай Тави надел форму майора румынской армии. Следует сказать, что форма ему шла. Шофером был утечист, который гордился важностью порученного ему задания. Его предупредили, что он повезет важного партийного работника. На рассвете шофер подъехал и, как ему было сказано, остановил машину на углу улицы Окна де Аур. Здесь к нему должен был подойти человек и спросить: «Господин капрал, ваши часы идут точно?» Шофер должен открыть ему дверцу машины и ответить: «Да, часы хорошие».

Тави вышел из дому в форме майора с пистолетом на боку и остановился возле машины. Шофер был ошеломлен тем, что человек, которого он ждал, — офицер, и в первую

минуту окончательно растерялся. Назвав пароль, он сказал:

— Господин майор, вот тут ваше командировочное предписание.— И протянул майору запечатанный пакет.

Тави вскрыл пакет, из которого следовало, что в течение двадцати четырех часов он будет именоваться майором Георге Якобеску, который направляется в служебную командировку в гарнизон города Тимишоара.

— Хорошо! — сказал он просто и, сложив вчетверо командировочное удостоверение, сунул его в нагрудный карман кителя.

Путешествие протекало гладко. Правда, некоторое волнение доставляли военные посты, выставленные на перекрестках шоссе, у городских застав и иногда в селах. Но поскольку машина имела воинский номер и в ней ехал старший офицер — майор, контрольно-пропускные пункты, которыми командовали низшие чины, не осмеливались остановить машину или хотя бы проверить командировочное предписание майора и шофера.

Так, без каких-либо инцидентов они добрались до места. Это было обычное строение с кирпичными стенами, обнесенное забором из смоленых шпал, по которым вился виноград. Помимо служебного помещения, где находилась установка для сигнализации и рычаг для подъема и опускания шлагбаума, здесь были еще две комнаты, отведенные под квартиру путевого обходчика. За забором из шпал были видны хлев с деревянным навесом, печь для выпечки хлеба и побеленные известью курятник и свинарник. Весь двор, как зонтом, укрывали своими ветвями два больших и очень старых ореховых дерева. Путевая будка стояла совершенно отдельно. Ближайшее село находилось от нее в пяти километрах. От будки начинался большой, гектаров в пятьсот, буковый лес. По другую сторону железнодорожной линии тянулись лесистые холмы, которые терялись в высоких вершинах горы Семеникул.

Встреча действительно была очень важной. Из города Тимишоара сюда прибыл уполномоченный Банатского областного комитета партии. Беседа была прервана, когда наступило время обеда. Полная, просто, по-крестьянски одетая жена путевого обходчика сделала все, чтобы показать свое кулинарное искусство. Она устроила настоящий пир: зарезала курицу, приготовила жаркое, суп с галуш-

ками из манной группы, мясо с томатной подливкой и даже плачинту¹ с яблоками.

Под конец встречи уполномоченный областного комитета партии сказал Октавиану:

— Знаешь, Тави, когда тебя арестовали, был очень тяжелый момент. Кто-то донес в сигуранцу о том, что ты должен уехать. В результате ты был арестован. Сигуранца замышляла провести операцию большого размаха, но это ей не удалось. Ты сам вырвался из ее когтей, хотя, как мы потом узнали, тебя намеревались выпустить на второй день и устроить за тобой слежку, надеясь, что ты пойдешь к кому-нибудь из нас. До сих пор мы действовали правильно, надо держаться так же и дальше.

В ту же ночь, примерно часа в два, Тави благополучно вернулся в город Н. Машина остановилась на углу улицы. Дождь лил как из ведра. Всю ночь сверкали молнии, раздавались раскатистые удары грома.

Открыв калитку, Тави заметил стоящую за воротами Марию.

— Не бойся, это я, Мария. Что случилось? — спросил он.

— Все в порядке. Просто я жду тебя.

— Почему же ты не спишь?

— Я не смогла сомкнуть глаз. Знала, что ты должен вернуться этой ночью, и ждала тебя. Услышав машину, я вышла тебе навстречу.

Они вошли в дом. Октавиан обнял Марию, она каким-то странным взглядом посмотрела на него.

— Что бы ты сказал, милый, если бы узнал, что у нас будет ребенок?

— Почему ты меня спрашиваешь об этом?

— Мне кажется, у нас будет ребенок.

— Это же прекрасно!

— И я очень рада. А как мы его назовем?

— Как ты захочешь.

— Я хотела бы назвать его Октавианом. А если будет девочка — Октавианой.

— А разве есть такое женское имя?

— А почему же нет?

— Ты права. Почему бы не быть? Только прошу тебя, будь осторожнее...

¹ Плачинта — слоеный пирог.

- Я боюсь за тебя.
 - Не бойся.
 - Когда счастлив, боишься потерять свое счастье...
- До сих пор я никогда не был счастлив,
- А теперь?
 - А теперь — да.
 - С тех пор как мы встретились?
 - Да...

Октавиан спал долго: слишком устал накануне. Неожиданно его разбудила испуганная Мария.

— Что случилось? — спросил он.

— У ворот какие-то люди. Я видела их через щель в ставне. С ними полицейский. Быстрее спускайся в подвал!

По выработавшейся годами привычке Октавиан никогда не разбрасывал по комнате своих вещей. Не прошло и минуты, как он спустился в подвал. Комната стала пустой. Даже опытный, настороженный и подозрительный глаз не смог бы заметить, что здесь кроме незамужней женщины проживает еще кто-то.

Мария подошла к воротам и открыла — перед ней стояли женщина из патронажного совета, двое служащих из примарии и полицейский.

— Мы стучим уже несколько минут! — сказала женщина. — Вы что, не слышите?

— Я была на огороде, — ответила Мария. — Мать у меня старая, плохо слышит, — добавила она, заметив, что мать показалась на пороге кухни.

— Мы хотим посмотреть ваш дом, — заявила женщина. — У вас проживают беженцы?

— Нет, — сказала Мария. — Вы сами видите: дом у нас небольшой, в нем только одна комната, кухня и кладовая.

Мария старалась держаться как можно спокойнее. Чтобы собраться с мыслями, ничем не выдать себя, она говорила медленно, обдумывая слова.

— Сколько человек здесь проживает?

— Мы с мамой, — ответила Мария.

— Тут действительно нет свободного места, — сказал один из членов комиссии, знавший Марию. Потом спросил ее: — Что нового на электростанции?

— Какие новости? Работаю, бегаю весь день по абонентам — и все.

Этот же член комиссии пояснил женщине из патронажного совета:

— Хозяйка дома — вдова. Ее муж погиб на фронте.

— В каком чине он был? — спросила женщина.

— Простой солдат. До этого работал в типографии у господина адвоката Космы.

Женщина обратилась к Марии и прочувствованно сказала:

— Зайдите как-нибудь в совет, мы поможем продуктами, одеждой.

Молча, кивком головы Мария поблагодарила женщину.

— Сюда никого не будем поселять, — официальным тоном заявила женщина.

Когда комиссия ушла, Октавиан выбрался из своего тайника. К его рубашке прицепились нитки, паутина, солома. Ставни были закрыты, и в комнате стояла приятная прохлада.

— Ты слышал? — взволнованно сказала Мария. — Этого я боюсь больше всего. Боюсь, что случится что-нибудь и я потеряю тебя.

13

Вечером 22 августа 1944 года в доме префекта Бенедикта Попеску-Зимнича происходила обычная сцена.

Свою супругу Бенедикт Попеску отправил к тестю в город Турну-Магурели. Лето было в разгаре, и ему хотелось остаться одному. Однако в тот вечер префект был не один. Он вызвал к себе по «секретному и весьма важному делу» свою секретаршу, молодую, красивую, одинокую женщину. Это было уже не в первый раз, и она хорошо знала, что скрывалось за официальной формулой «секретное и весьма важное дело». Секретарша села в ожидавшую ее у префектуры пролетку и приказала кучеру отвезти ее к дому префекта. Полковник Попеску уехал домой на полчаса раньше и выслал за ней пролетку. Он ждал ее, облачившись в легкую пижаму из полосатого шелка. Полковник был в приподнятом настроении. Увидев женщину с пишущей машинкой в руках, он, смеясь, грубовато сострил:

— Брось к чертям эту машинку, она нам не понадобится!

Когда она разделась и осталась в одном белье, полковник предложил:

— Накинь халат жены.

— Да ни один из них мне не подойдет — слишком широки.

— Так ведь она отрастила себе зад, как у начальника полицейского поста!

— Мне не нравятся мужчины, которые чернят своих жен перед любовницами.

— Накинь все-таки халат.

— Но он же мне велик!

— Значит, ты тоже порочишь ее?

— Я ничего такого не сказала.

— А то, что ее халат тебе широк?

— Это совсем другое дело.

— Это то же самое! Вот я и говорю: у нее слишком большой зад!

— Бен!..

Около двух часов ночи полковник выпроводил любовницу. Она ушла пешком: пролетки он ей не дал. Только он лег спать, как неожиданно в столовой зазвонил телефон.

— Алло, кто это? — спросил он.

На другом конце провода невразумительно бормотал какой-то мужчина.

— Что за шутки в такое позднее время? — вознегодовал полковник. С большим трудом он узнал голос Ливиуса Космы, который, по-видимому, был мертвецки пьян. Косма звонил из ресторана «Золотой петушок».

— Бен!.. Бен!.. Можно к тебе заехать? Я не один, и наш визит доставит тебе удовольствие. Сам увидишь...

— Но сейчас очень поздно!

— Что значит «поздно»? И почему поздно?

— Но я уже спал. Ты разбудил меня.

— Как спал? Как разбудил? Я сейчас приеду, и тебе уже не захочется спать. Слышишь меня, полковник? Я все равно приеду!

— Но пойми, если я не посплю, то завтра ни на что не буду пригоден.

— Ведь ты же префект! Ты бог в уезде!

Полковник бросил трубку на рычаг и вернулся в

спальню. Только он задремал, как с улицы послышался грохот пролетки и цокот копыт. Пролетка остановилась перед домом. Бенедикт Попеску понял, что прибыл этот настырный Ливиус. Через несколько минут Ливиус вошел в дом с двумя женщинами, которых Попеску раньше никогда не видел. Все трое были пьяны. Женщины как-то испуганно оглядывались вокруг и, казалось, были весьма стеснены тем обстоятельством, что увидели полковника Попеску в одной пижаме. Ливиус был весел; он напоминал лицеиста, попавшего в первую любовную авантюру.

— Ну-ка, Бен, посмотри на них и оцени.— Повернувшись к дамам, он спросил: — Вы знаете, куда попали? Бен, они понятия не имеют, где они!

Одна из девушек застенчиво пробормотала:

— У господина префекта...

— Бен, ты слышишь? Оказывается, ты фигура! Вся округа знает тебя! Да, это господин префект, и он ждет, чтобы за ним поухаживали. Разве вы это не умеете? А мы на всякий случай прихватили с собой четыре бутылки шампанского.

Часов в десять утра полковник Попеску проснулся с тяжелой головой. Он восстановил в памяти ночную оргию. Ливиус ушел в три часа ночи, оставив ему одну из девушек. Теперь, уткнувшись носом в подушку и посапывая, она спала на другой кровати.

Полковник Попеску с трудом поднялся, вышел в столовую, поднял шторы и вспотевшими ладонями начал растирать виски. Потом позвонил. Явился ординарец. Полковник кисло спросил его:

— Который час?

— Пятнадцать минут одиннадцатого.

— Какой сегодня день?

— Двадцать третье августа.

— Меня никто не спрашивал?

— Спрашивал господин из полиции.

— Какой господин? Вартиадис?

— Так точно.

— Где он?

— Он пришел, спросил вас и ушел. Сказал, что зайдет к вам в префектуру.

— А ты что делаешь?

— Я?

— Да, дубина, ты!

- Ничего. Жду, чтобы подать вам кофе.
- Принеси мне коньяк, большую рюмку коньяку.
- Слушаюсь.
- Когда я уйду, выпроводи из спальни эту... и смотри, чтобы она, черт бы ее подрал, не стянула что-нибудь.
- Слушаюсь.

День 23 августа был похожим на все другие дни. Было так же душно и знойно. Казалось, духота застыла, окаменела и повисла на пыльной листве каштанов, на деревьях всех садов города.

Бенедикт Попеску приехал в префектуру позже обычного, к половине двенадцатого. На вопрос: «Что нового?» начальник кабинета ответил, что ничего нового нет. Бенедикт выслушал этот стереотипный ответ со скучающим и усталым видом.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Октавиан чувствовал себя человеком, который был приговорен на долгие годы заключения и для которого наступает минута освобождения, наступает момент, когда железная дверь одиночной камеры должна вот-вот открыться, и он напряженно прислушивается к позвякиванию отпирающих дверь ключей. Много лет он мечтал о том, что произойдет после того, как он переступит этот решительный порог, много раз представлял свою работу после освобождения из тьмы. Было очень горько, что никто из его семьи не дожил до этих дней: ни мать, ни отец, ни Валериу, тело которого похоронено в земле Испании и от которого остался только исписанный каллиграфическим почерком дневник революционного солдата да несбывшаяся мечта стать писателем. Октавиан остро почувствовал, что ведь и он мог погибнуть. Но нет. Нельзя умирать, особенно сейчас. Ему казалось, что на их семью всегда обрушивалась какая-то злая разрушительная сила, которая каждый раз пыталась уничтожить ее. Но всегда кто-то поднимался и продолжал идти вперед. Сейчас эстафета передана Октавиану. И если его убьют

накануне того дня, которого он ждал с такой надеждой, тогда все — круг замкнется.

Мария замечала это лихорадочное состояние Октавиана, но ни о чем его не расспрашивала. Она ходила тихо, будто в доме был больной. И когда старуха как-то нечаянно уронила на пол в кухне какую-то посуду, звон показался ей оглушительным и безобразным.

Из-за частых воздушных налетов газеты из Бухареста теперь приходили с большим опозданием. Однако несмотря на то что газеты приносили весьма устаревшие сведения, Октавиан и Мария с жадностью читали их. С той же жадностью слушали они передачи последних известий и путанные и противоречивые военные сводки. Теперь Марии приходилось часто бегать от Октавиана к Мирче, все время поддерживать связь между ними.

Наконец как-то вечером, часов в восемь, диктор бухарестской радиостанции внятно, не спеша, торжественным голосом произнес фразу, которая прозвучала как удар молота о громадный бронзовый гонг:

— Внимание, внимание! Не отходите от своих радиоприемников! Через несколько минут будет передано важное сообщение!

Октавиан, сидевший на стуле с открытой книгой в руках, сразу вскочил. Одет он был так, как обычно одевался в последние дни. Несколько ночей подряд он даже спал одетым или прикидывался, что спит, быстро закрывая глаза, когда чувствовал, что Мария смотрит на него.

Сообщение диктора радиостанции Бухареста, необычное и загадочное, взбудоражило сразу весь город; жители, не имеющие своих радиоприемников, начали собираться группами у соседей, у которых были приемники. Все ждали начала обещанной передачи, а в эфире беспрерывно раздавались военные марши, и это тоже доказывало, что речь пойдет об особенно важном событии.

Мария подошла к Октавиану и положила ему руку на плечо. Она, так же как и он, была встревожена не на шутку. «Что же теперь будет? — спрашивала себя Мария. — Что будет с ним? С нами?»

Из радиоприемника с небольшими перерывами неслись бравурные марши. Медленно и неумолимо прошли два часа. В двадцать два часа пятнадцать минут было передано сообщение, что режим Антонеску низвергнут и

что Румыния повернула оружие против гитлеровской Германии.

У Октавиана влажно заблестели глаза, Мария разрыдалась.

Через несколько минут в госпитальной пролетке приехал Мирча. Вместе с Октавианом они вышли из дома. На пороге Октавиан остановился и окинул взглядом свое пристанище, затем, не сказав ни слова, ушел. Это были первые минуты полной его свободы.

На улицах появились вооруженные патрули отрядов патриотической гвардии и пограничников. Обучавшая солдат группа немецких инструкторов при маршевом батальоне была разоружена в первые же часы после передачи сообщения. Была разоружена и немецкая охрана тыловых складов вермахта.

В ту же ночь произошло вооруженное столкновение в районе вокзала и железнодорожного депо. Здесь действовали хорошо знавшие эти места отряды патриотической гвардии железнодорожных рабочих. Они были вооружены автоматами, на поясе у каждого рабочего висело по пять гранат. На вокзале случайно оказался следующий в Воеводину немецкий военный эшелон. Это был состав с карателями, бронированный паровоз тянул за собой восемь вагонов с эсэсовцами. Начальник эшелона, капитан СС, в сопровождении патруля ворвался в контору службы движения и потребовал от диспетчера пропустить поезд на югославскую территорию. В конторе в это время как раз находилось пять рабочих депо. Они набросились на четырех нацистских солдат и связали их. Одному из гитлеровских солдат все же удалось вырваться из конторы. Он побежал по перрону, потом по линиям, крича:

— Alarm! Alarm! Alarm!¹

С немецкого эшелона по зданию вокзала открыли ожесточенный огонь из автоматов. Посыпались стекла из окон, кто-то выключил свет на всей станции. Как фонарь в летнем саду, светила луна. Вооруженные рабочие обошли эшелон с тыла, со стороны депо, открыли по нему убийственный огонь из автоматов и забросали вагоны гранатами. Одна из гранат попала в вагон с боеприпаса-

¹ Тревога! (нем.)

ми. От мощного взрыва вагон взлетел в воздух, земля и все здания на станции, казалось, зашатались. Оставшиеся без своего командира гитлеровские солдаты, перепуганные сильным взрывом, начали бросать оружие и сдаваться. Гитлеровцев обыскивали, чтобы у них не оставалось оружия, и заперли в одном из пустых складов вокзала. Их оказалось более двухсот человек. Вокруг склада были выставлены часовые, а поезд с бронированным паровозом был поставлен на маневровую линию за депо, в сторону города.

Через полчаса из города Анины прибыл поезд, состоящий из двух товарных вагонов, в которых находилось несколько десятков вооруженных шахтеров. Это была помощь рабочих шахты города Анина. Они услышали взрыв на вокзале города Н., и машинист на всех парах погнал поезд, чтобы поспеть вовремя. Однако поезд прибыл на станцию Н., когда бой с немцами уже закончился.

Вечером 23 августа Ливиус Косма, как обычно, находился в ресторане «Золотой петушок». Хозяин ресторана, тяжело дыша, подбежал к его столику и взволнованным голосом сказал:

— Господин доктор, можно попросить вас пройти на минутку в контору?

— Что случилось, нейкэ? ¹

— Идемте быстрее...

В эту минуту кто-то вбежал в ресторан и крикнул:

— Мир! Антонеску свергнут!

Оркестр молчал. Только несколько минут назад сыграли «Лили Марлен», и теперь музыканты отдыхали. В ресторане находилось несколько немцев-военных. Они не понимали по-румынски и с рассеянным, пренебрежительным видом наблюдали за тем, что происходит вокруг. Люди толпами выходили из ресторана, заполняли площадь, громко разговаривали и, взволнованные, спешили куда-то. В ресторане осталось только четыре или пять немецких офицеров.

— Was ist? Was ist, Herr Doktor? ² — спросил один

¹ Нейкэ — обращение к старшему брату или вообще к старшему.

² Что случилось? Что случилось, господин доктор? (нем.)

из них Ливиуса, когда он с озабоченным видом проходил мимо их стола.

— Пошли вы к черту! — ответил сквозь зубы Ливиус и вошел в контору.

Здесь вокруг включенного радиоприемника толпились официанты и повара, работающие в ресторане.

— Что происходит? — спросил он, и официанты расступились, пропуская его к радиоприемнику.

— Наступил мир, господин доктор, — сказал ему владелец ресторана, вытирая вспотевшую шею грязным полотенцем, которое он вырвал из рук одного из официантов.

— Ты слышал своими ушами? — спросил Ливиус.

— Да, Антонеску свергнут, — подтвердил Алоис, несколько смущаясь, что он, официант, сообщает такому господину, как Ливиус, столь важную новость.

— Может, вы не расслышали? — пробормотал Ливиус, вглядываясь в лица людей, чтобы удостовериться, не пьяны ли они.

— Подождите, сейчас опять будут передавать сообщение, — сказал владелец ресторана.

И действительно, через минуту снова было передано сообщение о том, что режим Антонеску свергнут и что Румыния повернула оружие против гитлеровской Германии. Ливиус выслушал до конца все сообщение. Когда раздались патриотические марши, он торжественно обратился к присутствующим:

— Господа, диктатура пала!

Он обнял владельца ресторана, а потом быстро направился домой. По дороге вспомнил, что «Семеникул» находится в печати, и побежал в типографию.

Ливиус думал, что машины печатают его газету. Но лощенные страницы лежали на верстальных столах, а машины печатали воззвание городского комитета коммунистической партии.

— Кто вам позволил делать это? — возмутился он.

Франтишек ответил ему:

— Господин доктор, не надо нервничать. У вас тоже будет возможность высказаться.

Ливиус понял, что вместо подготовленного номера немедленно нужно готовить новый номер газеты.

На рассвете весь тираж воззвания, первого воззвания, отпечатанного открыто, был готов. В типографию пришли

группы людей, которым было поручено распространить воззвание. Ливиус не замечал никого. Его мучила лишь одна мысль: как выпустить новый номер газеты.

Разобрав старый набор, Ливиус приступил к верстке специального выпуска газеты. На полу валялись полосы старого набора. Здесь же валялась передовая редакционная статья, которую несколько дней назад он сам написал. Статья называлась «Судьба Румынии в верных руках». В ней он писал о прозорливости маршала Антонеску, о священном долге нации следовать за ним до полной победы. Теперь гранка этой статьи валялась скомканной под столом; из скомканных складок выглядывал портрет маршала Антонеску, лицо его, казалось, было искажено гневом и бессилием.

Ливиус был зол. Лежащие перед ним на столе чистые листы бумаги как будто ждали, когда он примется заполнять их своим бисерным почерком. Раньше за полчаса он мог написать целую передовицу, а теперь у него не было вдохновения. Он мучился, писал что-то и тут же зачеркивал написанное, опять писал, но слова казались ему непримиримыми врагами. С трудом он набросал все же несколько страниц и подписался: «Доктор Ливиус Косма». О сне он уже и не помышлял. Он послал домой за своей служанкой, приказал ей приготовить и принести большой кофейник кофе, ром и закуску и на рассвете, когда специальный выпуск находился уже в печати, Ливиус, изображая из себя демократа, распил бутылку рома с типографскими рабочими. Ливиус внимательно следил за набором и печатанием выпуска, который из-за поспешности и в силу чрезвычайных обстоятельств вышел только на двух страницах, в половину обычного формата. Он снял и бросил в корзинку набор старых лозунгов времен Антонеску и объявление о большом пикнике, который собирался организовать патронажный совет 26 августа 1944 года, и теперь спокойно, счастливо и гордо смотрел на дело своих рук — специальный выпуск газеты «Семеникул». Вместо подзаголовка «Газета румынской веры и энергии» он приказал набрать старый текст, который был снят еще в 1938 году: «Официозный орган национал-цэранистской партии». Вернувшись на свои прежние позиции, он уже начисто забыл о передовой статье, в которой только несколько дней назад восхвалял маршала Антонеску.

Префект полиции, выслушав переданное из Бухареста сообщение и услышав грохот боев в районе вокзала, не знал, что делать. Когда неожиданно позвонил Ливиус Косма, Попеску был еще в халате и тапочках. Не зная еще, что предпринять, он начал быстро одеваться. Но тут, запыхавшись, быстро вошел курьер префектуры и вручил ему переданную из Бухареста телеграмму. В ней сообщалось, что новое правительство приказывает префектам оставаться на своих постах. В ту же ночь в префектуре состоялось совещание, на котором присутствовали представитель гарнизона города капитан Павел Брия, представитель коммунистической партии Октавиан Дамшу и примарь. К концу совещания сюда приехал и Ливиус. Оказалось, что он поздно узнал об этом совещании. Однако, сославшись на неотложные дела в типографии, он извинился и вскоре уехал. Перед этим он успел заявить, что представляет здесь национал-цэранистскую партию. С молчаливым любопытством и удивлением Ливиус Косма вглядывался в лицо Октавиана Дамшу. Он мысленно обращался к Вартиадису с запоздалым упреком: «Как же ты до сих пор не схватил его?» А Вартиадис как сквозь землю провалился. Он предусмотрительно исчез. Позднее, когда совещание в префектуре закончилось и участники его собирались выйти из кабинета, появился запыхавшийся адвокат Патриций Мынекутза и объявил, что будет представлять либеральную партию.

Капитан Павел Брия сообщил на совещании, что в соответствии с приказом командования территориального корпуса города Тимишоара командование гарнизона румынских войск города Н. разработало план ликвидации частей гитлеровской армии, расположенных в городе и его окрестностях, и усиления военной охраны границы. Сейчас приступили к его осуществлению. В выполнении этой задачи участвуют и вооруженные рабочие. Чтобы у присутствующих на совещании не осталось каких-либо неясностей, Октавиан Дамшу подтвердил сообщение капитана Брия. Он сказал, что против немцев действуют созданные компартией отряды патриотической гвардии. Так присутствующие на этом совещании впервые услышали об отрядах вооруженных рабочих. Префект растерялся. Никогда не отличавшийся знанием военного дела, он

заметил тем не менее, что «немцы располагают орудиями, танками и авиацией», что «город и уезд занимают особое положение в стране, поскольку они расположены в опасной близости от границы», и рекомендовал подождать подкреплений. Примарь поддержал префекта, но Брия и Дамшу решительно возражали, заявив, что такая оценка сил гитлеровцев является вредной и опасной.

— Мы тоже располагаем орудиями,— ответил им Павел Брия.— Кроме оружия, господа, у нас есть сознание своего патриотического долга, любовь к родине, за освобождение которой мы готовы отдать жизнь. Ждать подкреплений, как предлагает господин префект,— значит дать возможность немцам собраться с силами. Наш долг— до конца выполнить полученный сверху приказ, и это мы сделаем во что бы то ни стало! — решительно заявил капитан Павел Брия, положив, таким образом, конец разговорам на эту тему.

Гитлеровские офицеры и унтер-офицеры, расквартированные в отеле «Корона», не хотели ни сдаваться, ни освободить помещение.

Утром 24 августа началась перестрелка, продолжавшаяся весь день. В результате двух сосредоточенных атак силой в две роты были ранены десятки солдат и рабочих. Их отправили в местный госпиталь. Город внимательно следил за ходом боя вокруг отеля «Корона». Еще не миновала бурная радость первых часов освобождения, как всем стало ясно, что свобода не божественный дар, что она может быть достигнута только ценой тяжелой и требующей больших жертв борьбы. Только теперь все начали понимать ужасы и трудности войны.

Гитлеровские офицеры, забаррикадировавшись в гостинице «Корона», надеялись на помощь, которую они ожидали с оккупированной немцами сербской территории. Поэтому наличие немецких сил в городе было небезопасно, и этот факт нельзя было недооценивать. Командование румынского корпуса, расположившегося в Тимишоаре, в целях отражения нападения немцев со стороны города Врсака направило на юго-западную границу страны воинские части силой до нескольких батальонов. Маршевому батальону из города Н. по радио было отдано распоряжение занять оборону юго-западнее города в районе пограничной зоны.

Часов в двенадцать начался штурм отеля «Корона».

Захваченная немецкая танкетка, за которой перебежками продвигались солдаты и вооруженные рабочие, подошла к зданию и со всей силой ударила по чугунным воротам, которые подались после первого же удара. Через эту единственную брешь в здание ворвались солдаты пограничной роты и отряд патриотической гвардии. Гитлеровские офицеры и унтер-офицеры прекратили сопротивление и сложили оружие.

После 23 августа население города вывесило на воротах и на фасадах домов трехцветные и красные флаги. Никто не собирался их снимать, и казалось, что город отмечает небывало длительный праздник. Люди свободно ходили по улицам, собирались толпами на площади перед префектурой и на других площадях города, обсуждали происходящие события, сообщали друг другу переданные по радио последние известия.

Один гитлеровский офицер, застигнутый событиями в доме своей любовницы — немки-вдовы, был обнаружен ее соседями днем 27 августа и в сопровождении шумной толпы доставлен в казарму пограничного батальона. Это был высокий сухопарый офицер в очках в золотой оправе на длинном и крупном носу, с длинными и изнеженными руками. Одет он был странно, даже смешно: на нем были военные сапоги и брюки и гражданский пиджак с короткими рукавами, а на голове торчала фуражка нацистского офицера. Люди заразительно смеялись над ним, бросали острые замечания в его адрес, но плененный офицер ничего не понимал: он смотрел вокруг себя так, будто только что проснулся и еще не протер глаза.

— Ну что, фриц, попался? — весело спрашивали его. — Думал укрыться в кровати своей возлюбленной?

Немец видел, что над ним потешаются, и вел себя весьма смирно. Дрожащими пальцами он все время вытирал стекла своих очков и смотрел вокруг, как пойманный с поличным карманный ворюшка.

Другая толпа — из мужчин, подростков и детей — собралась перед отелем «Корона», где только что закончились бои. Танкетка находилась еще там. Она застряла среди скрюченных решеток ворот. Военный механик резал решетки автогенным аппаратом. Отель был одноэтажный. Это было старое, массивное здание с толстыми, как у крепости, стенами. На фасаде виднелись пробойны, на тротуаре валялись куски разбитой штукатурки, оскол-

ки стекла и щепки оконных рам. Из одного окна отеля свисала белая простыня.

Товарищи, которым было поручено печатание листов партийной организации, вернулись в город еще в ночь на 24 августа. Теперь им приходилось очень много работать: каждый день нужно было печатать в форме афиши сводку последних известий. В сводке приводились последние сведения о разворачивании боев с гитлеровскими войсками в Отопени, долине Праховы, Добрудже и в других местах, где тысячи немецких солдат сдавались в плен вместе со своими командирами. В сводке сообщалось также о населенных пунктах, занятых советскими войсками, и о том, с каким энтузиазмом встречало их население тех мест. Все это радовало жителей города Н. Каждое утро они жадно читали сводки.

Город казался спокойным. Но это спокойствие напоминало затишье на фронте между двумя сражениями. В одиннадцать часов утра 27 августа была объявлена первая воздушная тревога: к городу со стороны Воеводинской равнины приближался немецкий самолет устаревшего типа. Он летел на малой скорости на высоте нескольких десятков метров и поднимал оглушительный грохот, напоминавший шум вальцовой мельницы. Самолет около получаса кружил над городом. Казалось, он вот-вот заденет высокую колокольню ортодоксальной церкви в центре города. Потом самолет удалился в сторону границы. В течение дня он еще раз появился над городом, и было хорошо видно, как из кабины самолета сбросили какой-то странный груз, похожий на грозди винограда. Это были связки по десяти гранат, которые со свистом падали на улицы и дома города. Люди толпами стояли на улицах и на площадях, не обращая внимания на объявленную воздушную тревогу, поэтому сразу же появились раненые и даже убитые. Возникла паника. В городе распространились слухи, что немецкая авиация, базирующаяся на аэродромах в городах Врсак и Новисад, разрушила Тимишоару, совершила налет на Решицу и что в течение ночи ожидается налет на город Н. Слухи казались правдоподобными, и уже во второй половине дня некоторые из горожан покинули город и выехали в соседние села. Вечером со стороны Решицы слышался глухой отдаленный грохот орудий, напоминавший раскаты грозы. Это вели огонь зенитные батареи, расположенные

на высотах вокруг металлургических заводов. Однако на второй день после тревожной ночи выяснилось, что никакого налета на самом деле не было; самолет лишь производил разведку.

Бенедикт Попеску-Зимнича заважничал. Ездил он по городу в бричке, а на облучке восседал солдат в полном походном снаряжении. Тут же была и личная охрана, состоящая из сержанта полиции и солдата. Попеску был одет в походную форму: на голове каска, португеза через плечо, небольшой пистолет на круглом и толстом бедре. Вид у него был строгий и воинственный. Страх исчез; наоборот, префект теперь стал иметь собственное мнение о стратегии и тактике предстоящих действий против немцев, наступление которых ожидалось со стороны Воеводины.

Маршевый батальон в соответствии с распоряжением командования занимал оборону в нескольких километрах от города, фронтом к границе. Передовое охранение, расположенное в районе пограничных пикетов, донесло, что им не обнаружено никаких опасных передвижений немецких войск. Однако город по-прежнему продолжал жить фронтовой жизнью: по улицам шагали военные патрули, улицы были опутаны колючей проволокой, у шлагбаумов, на железнодорожных мостах и у входа в важные учреждения города были выставлены часовые.

3

Старый Антон Косма послушался совета своего сына и 1 сентября 1944 года покинул свою усадьбу в селе Амарадия, переехав в городской дом. Антон Косма выполнял роль римского консула, приглашенного на форум, чтобы придать военным победам ореол политического торжества. Уже несколько лет он безвыездно жил в сельской местности и теперь был поражен стремительным разворотом событий. В деревне он вел ленивое барское существование. Одевался небрежно и по старинке, привык грубо разговаривать, сквернословить и стал похож на управляющего имением.

Антон Косма прибыл в город на старом форде, на ко-

тором исколесил немало проселочных дорог во время скандальных предвыборных кампаний в период между двумя мировыми войнами. Это был допотопный автомобиль выпуска 1925 или 1926 года с невзрачным кузовом.

Старик застал Ливиуса за лихорадочной работой. Ливиус обнаружил на чердаке дома огромную старую жестяную вывеску уездной организации национал-цэранистской партии и теперь наблюдал за тем, как ее, больше похожую на вывеску магазина колониальных товаров, прибивали на фасаде дома, над входом. Построенный в середине прошлого века, дом представлял собой прочное двухэтажное здание под черепичной крышей с многочисленными комнатами.

Форд старого политического деятеля остановился перед домом. Весь в дорожной пыли, Антон Косма вышел из машины с видом генерала, инспектирующего важное фортификационное сооружение. Ливиус бросился навстречу старику и чуть было не упал, запутавшись в веревке, при помощи которой только что была поднята тяжелая, почти в сто килограммов, вывеска. Отец горячо обнял его.

Вошли в дом. Здесь в комнатах нижнего этажа сутились старые деятели цэранистской партии, занимаясь оборудованием своего штаба; старик и Ливиус заперлись в отдельной комнате на втором этаже.

— Значит, возобновляем нашу былую деятельность? — торжественным тоном произнес Антон Косма.

— Ты видел, как выглядит сейчас газета «Семенкул»? — спросил Ливиус. Ему не терпелось похвастаться проделанной работой.

Старик был в восторге от последнего номера газеты и сделал лишь одно замечание:

— Тебе не кажется, дорогой мой, что рядом с фотографией его величества короля не мешало бы поместить фотографию Маниу?

— Я не нашел ее, — соврал Ливиус.

— Ведь он же твой дядя, — упрекнул старик Ливиуса.

Юлиус Маниу действительно был родственником Антона Космы: он приходился ему двоюродным братом. Антон Косма не забыл, что своей карьерой он обязан родству с Юлиусом Маниу.

Антон Косма продолжал наставлять своего сына:

— Нашу газету придется выпускать ежедневно. Это-

го, дорогой, требуют интересы момента, интересы нашей цэранистской партии.

— Я думал об этом, но на наших складах маловато бумаги.

— Ничего. Поедешь в Тимишоару и достанешь.

— Бумагу можно найти только на черном рынке, понадобится уйма денег.

— Я позвоню Северу Лобонциу, и он все устроит.

— Очень хорошо.

— Руководство уездной организацией цэранистской партии я беру на себя. Ты остаешься директором газеты «Семеникул», готовься занять должность префекта. А может быть, что-нибудь и повыше.

— Ты думаешь, это удастся? — Ливиус так и загорелся.

— Ты еще спрашиваешь! Для чего же мы столько терпели под тевтонским сапогом и под пятой маршала?

— А что скажут другие?

— Какие другие?

— Другие партии — либералы, социал-демократы, коммунисты?

Услышав последнее слово, старик выразил изумление:

— Коммунисты?

— Разумеется.

— Дорогой мой Ливиус, ты, оказывается, еще ребенок.

— Разве по дороге из Амарадии ты не проезжал через город?

— А что я должен был увидеть в городе? — спросил Антон Косма, который действительно ничего не заметил. Надышавшись выхлопными газами и дорожной пылью, расслабленный летним зноем, он всю дорогу дремал в машине.

— У шлагбаума тебя никто не останавливал?

— Какие-то солдаты останавливали...

— А кроме солдат там не было вооруженных гражданских с трехцветными повязками на рукавах?

— Кажется, были...

— Вот видишь? Это и есть коммунисты!

Однако старый Косма все еще не видел повода для беспокойства.

— Мы являемся единственной конституционной пар-

тией. Даже либералы не могут сравниться с нами. Пойми это, сынок.

— И все же коммунисты опередили нас, — с горечью возразил ему Ливиус. — Они уже начали свою политическую и организационную деятельность, открыли свой партийный центр — и все это на второй день после падения Антонеску!

— У них уже есть свой центр?

— Конечно. Неужели ты не заметил этого, когда проезжал по городу?

— Нет, сынок, не заметил. Может, тебе это только показалось?

— Пойдем, я тебе покажу...

Старик поднялся и последовал за сыном. Он хотел увидеть все своими собственными глазами. Выйдя на улицу и направляясь к центру, они заметили проезжающего в пролетке префекта. Антон Косма поднял палку и сделал префекту знак остановиться. Префект дотронулся рукой до плеча сидевшего на передке солдата, и пролетка остановилась. Старик подошел к пролетке:

— Честь имею, господин префект. Это верно, что вы разрешили коммунистической партии открыть свой центр?

Префект пожал плечами, давая понять, что это не в его власти. Потом сказал:

— Меня никто не спрашивал... Ничего я не разрешал...

— Давай сходим туда. Я сам хочу все увидеть, — заявил Антон Косма сыну.

Они направились к площади. Там в двухэтажном здании находился городской комитет коммунистической партии. Это можно было разглядеть только вблизи. На фасаде дома с правой стороны от входа виднелась небольшая жестяная вывеска, на которой было написано: «Румынская Коммунистическая партия. Городской комитет».

Кто-то из находившихся в помещении подошел к открытому окну и заметил Ливиуса и Антона Косму, которые в это время как раз проходили по площади. Обращаясь к сидящим за его спиной людям, человек, подошедший к окну, сказал:

— Хотите увидеть нечто интересное?

— Что там?

— Посмотрите на этого старикашку. Это бывший министр от цэранистской партии Антон Косма. Рядом с ним идет его отпрыск, владелец и директор газеты «Семеникул».

— Ну их ко всем чертям, этих ископаемых!

Старик подошел ближе, прочитал вывеску, потом вместе с сыном направился в ресторан «Золотой петушок».

Об исчезнувшем еще в ночь на 23 августа Вартиадисе ходили слухи, что он находится в Тимишоаре и больше уже не возвратится в город Н. Потом выяснилось, что он находится по ту сторону границы, на оккупированной гитлеровцами югославской территории. Обязанности Вартиадиса были возложены на начальника управления полиции.

Комментируя распоряжение министерства внутренних дел об освобождении из тюрем и лагерей всех антифашистов, полковник Бенедикт Попеску-Зимнича приписывал себе заслугу, будто именно он освободил их. На самом деле освобождение антифашистов, арестованных полицией и осужденных трибуналом, было осуществлено отрядами патриотической гвардии еще вечером 23 августа.

— Я, господа, не стал ждать распоряжений и сам на свою ответственность освободил антифашистов. — И тут же, как бы желая оградить себя от всяческих неприятностей в будущем, добавлял: — Я кадровый военный и политикой не занимаюсь.

Он прекрасно понимал, что скоро ему придется оставить пост префекта, и был рад, что пока легко отделался. Каждый раз, входя в свой кабинет в префектуре, он с тревогой смотрел на светлое прямоугольное пятно, оставшееся на обоях там, где висел портрет маршала Антонеску.

До 23 августа все было ясно. Префект знал, что является начальником, высшей инстанцией в уезде. Будучи военным, он привык беспрекословно выполнять приказы начальства, зная, что не несет ответственности за них. Теперь положение изменилось. Он понимал, что от коммунистов ему не ждать ничего хорошего. На совещаниях, проходивших в префектуре, где обсуждались вопросы снабжения населения и восстановления предприятий города, Попеску-Зимнича говорил:

— Я человек военный и не вмешиваюсь в политику.

Присутствовавшие на совещаниях люди с иронией слушали его признания. Они хотели только одного: восстановить работу двух механических мельниц, начать выпечку хлеба в пекарнях, организовать охрану продовольственных складов в уезде, чтобы продукты не попали в руки спекулянтов. С представителями «исторических» партий Бенедикт Попеску-Зимнича разговаривал другим языком:

— Я готов уступить свой пост одному из вас. Я ни на что не претендую. Я хочу выйти на пенсию и заняться своим поместьем. Может быть, тогда я посвящу себя политической деятельности.

— Приходи к нам, — сказал ему Антон Косма. — Ведь ты земледелец. Твое место в цэранистской партии.

Польщенный приглашением, Бенедикт Попеску отвечал:

— Надо подумать. Пока я хочу сохранить за собой свободу действий.

Попеску не спешил. Он ждал полного выяснения политической обстановки, ждал, пока все станет на свое место. Больше всего его тревожило мрачное и угрожающее спокойствие, которое царило по ту сторону границы. Как бывший штабной офицер, он подозревал, что гитлеровцы ведут там лихорадочную подготовку к наступлению.

— Мой уезд, — сокрушался он, — является самым окраинным уездом всей страны!

Город и уезд были расположены в непосредственной близости от югославской границы, и опасность гитлеровского вторжения до подхода румынских и советских войск, продвигавшихся к западной границе страны, действительно была очень велика.

Расположенные в двадцати — тридцати километрах от города Н., в Югославии, гитлеровские войска, несомненно, готовили наступление. В этих условиях, конечно, не демагогическая болтовня Антона Космы могла воздвигнуть барьер на пути гитлеровцев, а энергичная деятельность коммунистов по организации обороны города до подхода главных сил румынских войск. Именно поэтому люди обращались по всем вопросам не в политические клубы «исторических» партий, а в городской комитет компартии.

Этот комитет начал свою работу днем 24 августа и в

короткое время стал сердцем всего города. Здание горкома охранялось вооруженными рабочими, оно было похоже на здание штаба фронта, где готовились сражения не на жизнь, а на смерть.

С 23 августа Октавиан спал не более четырех-пяти часов в сутки. Под глазами у него появились синие круги. Он приходил домой разбитый от усталости и сразу же ложился спать. Чтобы не разбудить его, Мария ходила по комнате на цыпочках.

Конец августа 1944 года выдался золотисто-солнечным, небо целыми днями было безоблачным, жара стояла, как в разгаре лета.

Поработав, Октавиан поднимался из-за стола, подходил к окну и с детским удивлением смотрел на солнце, которое словно купало площадь в расплавленном золоте. Он отодвигал тонкую занавеску и молча и жадно смотрел на суету, царившую на площади. Проходили домашние хозяйки с кошелками, рабочие и служащие спешили на работу и останавливались перед воззваниями компартии, наклеенными на старые, выгоревшие на солнце и покоробившиеся от жары плакаты.

Стоя у окна, он наблюдал за людьми, пересекавшими площадь и направлявшимися к зданию горкома, видел, как они разговаривали с часовым, охранявшим здание, как они показывали какие-то документы, жестикулировали, вероятно настаивая, чтобы их пропустили в здание горкома по важному делу.

Потом Октавиан переводил взгляд на прохожих, которые останавливались на почтительном расстоянии от здания горкома, вероятно для того, чтобы прочесть вывеску, недавно установленную на фасаде здания.

Люди приходили сюда без всякого вызова, некоторые приносили старые воззвания компартии, которые заботливо прятали в течение нескольких лет. Они рассказывали, что отпечатанные мелким шрифтом воззвания тех времен будили в их душе смутные и неясные надежды на лучшее будущее.

В эти дни гитлеровская радиостанция «Дунай» передавала истерические выступления легионеров. Они угрожали, что перережут всех, кто перешел на сторону коммунистов, хвастались мнимыми победами и предвещали наступление, которое сокрушит все на своем пути.

Цэранисты и либералы, располагая солидными денеж-

ными фондами, пустили их в ход с подозрительной пед-
ростью. Административные советы Решицких заводов и
Тимишоарского банка не скупались на деньги; напротив,
они усердно выполняли просьбы так называемых «исто-
рических» партий. Впрочем, удивительного тут ничего не
было, ибо в административных советах этих предприятий
важные посты занимали люди, не скрывавшие своей при-
надлежности к этим партиям. Выдавая деньги «историче-
ским» партиям, члены административных советов тем са-
мым ссужали самих себя. Расходных документов на эти
деньги не заводили, так как фонды были секретными, а
использование их юридически было надежно обосновано.
В результате этого газета «Семеникул», несмотря на ост-
рый кризис с бумагой, стала выходить ежедневно на че-
тырех страницах, ее сотрудникам выплачивались невиданно
высокие по тому времени ставки. Цэранисты
наводнили своими пропагандистскими материалами деревню.
10 сентября 1944 года они организовали демонстра-
цию, в которой приняло участие несколько сот человек.
Демонстрация запомнилась очевидцам тем, что прибыв-
шие для участия в ней за счет уездной организации кре-
стьяне были одеты столь хорошо, что поразительно похо-
дили на облачившихся в национальные костюмы священ-
ников, нотариусов и торговцев. Социальное положение их
не вызывало никакого сомнения. Они прибыли на повоз-
ках, тарантасах, в кабриолетах, украшенных цветистыми
крестьянскими ковриками и трехцветными флажками.
Питались они в городских ресторанах «Золотой пету-
шок», «Корона», «Румынское казино», «Стрелковый сад»
и «Стоянович». На манифестацию должен был прибыть
сам Север Лобонциу, но старый политикан не смог по-
пасть в город Н. Причина выяснилась лишь ночью, когда
уже печатался номер «Семеникула», который должен был
разнести по всему уезду весть о первой и самой значи-
тельной после падения режима Антонеску политической
манифестации цэранистов. Во второй половине дня со-
стоялось собрание на большой площади города. На импро-
визированную трибуну из шести дубовых столов, достав-
ленных из ресторана «Золотой петушок», поднялись знат-
ные лица цэранистской партии — Антон Косма, его сын
Ливиус Косма, священник из Бокши, нотариус и крестья-
нин с трехцветным, шириной в ладонь, поясом, стяну-
тым на большом, словно бочка, животе. Это был человек

средних лет с багрово-красными пятнами на щеках. Поверх вышитой рубашки на нем был хорошего покроя костюм из тонкой материи, а на ногах — офицерские сапоги. Он был известным корчмарем из долины Караша, владельцем трех или четырех самогонных аппаратов и около тридцати жугэров¹ земли со сливовыми садами. Старый цэранист, еще в довоенное время дважды занимавший пост примаря, он неплохо жил и во время войны, став поставщиком армии. Теперь он забыл обо всем и лелеял одну мечту: снова стать примарем в своем селе. Старший Косма обращался к нему с грубоватой фамильярностью, а тот, краснея от удовольствия, именовал его «господином министром». Он тоже произнес краткую речь, написанную на двух тетрадных листках, в которой расхваливал «господина министра» Антона Косму как «известного в прошлом парламентского оратора, большого друга крестьянства, который в годы кровавой диктатуры Антонеску столько раз подвергал свою жизнь опасности, противясь изо всех сил фашизму». Фотограф Тауб, взобравшись на лестницу, фотографировал каждого оратора. С этой же лестницы он фотографировал людей, которые сидели в повозках и кабриолетах, словно торговцы, прибывшие на воскресный рынок. Пахло цуйкой и митителями, жарившимися к товарищескому ужину, который должен был состояться после демонстрации.

— Я счастлив, — со слезами на глазах говорил Антон Косма с трибуны. — Я вновь переживаю лучшие дни своей молодости, когда цэранисты побеждали на выборах. Я чувствую, что воскресаю вновь!

Его речь была «блистательной», по выражению репортера, который в этот же вечер послал свой очерк в газету «Семеникул». На следующий день «Семеникул» должен был выйти на восьми страницах, поскольку демонстрации придавалось огромное значение как возрождению деятельности партии. По старой традиции манифестация закончилась вечером при свете факелов шумным парадом повозок, всадников и кабриолетов. Рассыпавшись затем по упомянутым ресторанам, толпа священников, нотариусов, корчмарей, бывших примарей коммун, сборщиков налогов, церковников и кулаков набросилась на еду и сливовую цуйку.

¹ Жугэр — земельная мера, равная 5775 квадратным метрам. — *Прим. ред.*

Ливиус Косма вскоре отправился домой. Ему сделалось плохо, и теперь, взлохмаченный и бледный, он спал, развалившись поперек двуспальной кровати, в одежде и обуви.

Отец его, величественно восседавший во главе стола, оставался на пирушке. Он тоже был сильно навеселе, но головы не терял. Он велел шоферу заправиться бензином и ждать его на улице перед рестораном, поскольку на заре им предстояло важное дело. Шофер вернулся в машину и, растянувшись на заднем сиденье, спал в ожидании «господина министра».

4

Ни одному из участников банкета и в голову не могло прийти, какие драматические события произойдут той ночью.

Было уже за полночь, пирушка в нескольких ресторанах продолжалась вовсю, с тостами и музыкой, когда в помещении городского комитета партии срочно собрались члены бюро. Десять минут назад были получены два сообщения с одинаковой вестью: телефонограмма из областного комитета партии и радиogramма, принятая походной радиостанцией, от командования территориального корпуса в Тимишоаре о начале гитлеровского наступления со стороны Воеводины. Командование корпуса приказывало немедленно привести в состояние боевой готовности все наличные силы. Одновременно позвонили также из погранзоны и передали, что немецкие войска начали массированный артиллерийский обстрел по всей линии границы. В сущности, об этом можно было не сообщать, поскольку гул орудийных залпов был слышен и в городе. Немедленно была объявлена тревога по гарнизону и начато осуществление плана обороны, подготовленного еще в первые дни после вооруженного восстания 23 августа.

Бюро партийного комитета превратилось в боевой штаб. На вешалке висели автоматы, которые могли понадобиться в любую минуту.

Вокруг стола, склонившись над развернутой на нем военной картой, прижатой по краям двумя небольшими металлическими пепельницами, стояли несколько человек. Представитель армейского командования капитан Павел

Брия, указывая на карту, лежавшую перед ним, докладывал о сложившейся обстановке.

На улице, у входа в помещение, несли охрану двое вооруженных рабочих. На тротуаре, прямо у входа в здание, стоял мотоцикл зеленоватого цвета с коляской, на котором прибыл Павел Брия. Опершись о борт коляски, стоял солдат-водитель. Он курил, беседуя с двумя вооруженными рабочими, охранявшими здание партийного комитета. Его мотоцикл был одним из трофеев, добытых во время восстания недели три тому назад. Солдат был очень доволен им, рассказывал, что нашел его в захваченном на станции вагоне новехоньким. Он заменил на мотоцикле лишь табличку с немецким номером и прикрепил к раме трехцветный вымпел. Водитель был в прорезиненном плаще, какие носили немецкие офицеры моторизованных частей, но сорвал со своего плаща погонны нацистского офицера, заменив их знаками различия кап-рала румынской армии. Чтобы не было никаких сомнений и недоразумений, на рукаве он носил трехцветную повязку. На вид парень был крепкий и веселый. Ему очень хотелось поговорить с этими двумя вооруженными рабочими из охраны партийного комитета, но один из них сказал ему с упреком:

— А на посту разве разговаривают?

— Ладно, браток, не налетай таким манером. Я такой же, как и ты на гражданке, — рабочий с Решицы. И к тому же утечист. Я привез товарища Брия в партийный комитет.

Это был тот солдат, который несколько недель назад доставил Октавиана Дамшу на встречу, состоявшуюся в тихой, отдаленной железнодорожной путевой будке. Он считал, что теперь может говорить свободно, без опаски.

— Хотите немецкую сигарету? — предложил он охранникам.

— Этот эрзац из кленовых листьев? Нет уж, я курю только «Национальные», — заявил рабочий, который напомнил ему, что на посту не разговаривают.

В здании продолжалось заседание бюро. Склонившись над картой и помечая время от времени важные пункты красным карандашом, капитан Павел Брия продолжал свой доклад. Октавиан и другие члены бюро внимательно слушали. Иногда Октавиан останавливал Павла и просил повторить сказанное, чтобы уточнить отдельные вопро-

сы. Октавиану нравилась деловитость Брия, и, отвлекшись на мгновение, он подумал: «Сдается мне, станешь ты хорошим офицером будущей нашей народной армии, пусть другие преподают в новом здании твоей школы в Рэстоци...»

Павел Брия прервал свое выступление, удивленный улыбкой на лице Октавиана.

— Я в ~~чем~~-то ошибся? — спросил он.

— Продолжай, продолжай, — сказал Октавиан; улыбка сошла с его лица, но мысль о будущем офицере не оставляла его. «Да, ты ошибся. Не учитель ты, а хороший штабной офицер, такой, каким должен быть настоящий штабист: спокойный, решительный, деловой».

Все слушали информацию Брия о минировании местности на направлениях наступления гитлеровских войск. Эти работы, по существу, начались уже несколько дней назад и продолжались в глубине пограничной зоны. Полученные сводки показывали, что в районе городов Врсак и Новисад концентрируются крупные гитлеровские силы, оснащенные танками и самоходными орудиями. Однако авиации у гитлеровцев, по всей видимости, не было, поскольку за весь период с 23 августа до начала сентября в воздушном пространстве города Н. появился лишь один самолет-разведчик, да и то это был самолет не германского производства, а итальянский «капрони».

Все было подготовлено для того, чтобы выстоять до подхода подкреплений, которые должно было направить командование корпуса из Тимишоары. Но ни Октавиан, ни капитан Брия не знали в тот момент, что головные немецкие части уже просочились в направлении Тимишоары и что войска, находившиеся в распоряжении корпуса, вынуждены были вести ожесточенные оборонительные бои в непосредственной близости от этого крупного промышленного центра на берегу канала Бега. Тогда же начались тяжелые бои и в районе Арад — Пэулиш.

Прения были в разгаре, когда в горком пришла Мария, держа в руке корзинку, накрытую цветной салфеткой. Вооруженные рабочие, стоявшие у входа в здание, знали ее и разрешили пройти. Внутри помещения ей бросилась в глаза необычная суэта. Обратившись к сосредоточенно работавшей машинистке, Мария спросила:

— Не знаете, где товарищ Октавиан?

— Он там, на заседании.

Машинистка не знала Марию и снисходительно посмотрела на корзинку, которую та держала в руке. Она решила, что перед ней одна из многочисленных просительниц и жалобщиц, и сказала безапелляционно:

— У товарища Октавиана очень много работы. Ему не до мелочей, с которыми вы приходите сюда. Война, вы понимаете это? Война!

— Вот именно поэтому я и пришла, — сказала Мария мягко, но решительно, так что машинистка могла и вправду подумать, что у нее полная корзинка пистолетов и гранат. В этот момент дверь в соседнюю комнату открылась, показался Мирча Ванчиу. Взглянув на Марию, он с удивлением протянул руку:

— Ты здесь? Что случилось?

— Ничего особенного, — ответила Мария, опустив глаза. — Я принесла кое-что поесть. Он с утра не был дома.

В дверях показался Октавиан. Увидев Марию, он обрадованно улыбнулся ей и пригласил в комнату. Только сейчас он по-настоящему почувствовал, что голоден, — действительно, ведь он со вчерашнего вечера ничего не ел.

Хлопчатобумажная салфетка тут же легла на край стола, и на ней появились хлеб, брынза, зеленый перец, помидоры и куча свежих, еще теплых пирожков, от которых вкусно пахло перцем и чесноком.

— Прошу всех быстро перекусить! Сюда, товарищ Брия, — пригласил он офицера, который, казалось, все еще продолжал думать о том, о чем только что докладывал на бюро.

— Слушаюсь, — ответил Брия с отсутствующим видом, и Октавиан снова отметил про себя, что военная дисциплина настолько глубоко вошла в кровь учителя, что он, наверное, до конца дней своих останется в душе офицером.

Октавиан ел с аппетитом. Поев, обнял Марию за плечи, подвел к окну и спросил:

— Дома все в порядке?

— Да, все хорошо. А ты так осунулся...

— Ничего не поделаешь.

— Не можешь вырваться хотя бы на несколько часов? Поспать бы тебе немножко.

— Мария, я не хочу, чтобы ты тревожилась, но сей-

час многого стоят даже те десять минут, которые мы потеряли на еде. Немцы начали наступление.

— Что же нам делать тогда? — испугалась Мария.

Октавиан постарался ее успокоить.

— Ты хорошо сделала, что принесла поесть. Я тут с голоду умирал. На рассвете непременно постараюсь заглянуть домой. Хотелось бы хорошенько вымыться. Поставь ведро с водой на огонь. А спать — потом. Чертовски устал, это верно, но спать сейчас некогда. Ну а теперь иди домой. Посмотрят на тебя люди и увидят слезы на твоих глазах. Ну разве можно так?

Мария ушла, охваченная беспокойством. Больше всего она боялась, что опять вернется тот страх, в котором она жила раньше.

После того как Мария ушла, совещание продолжалось примерно еще с час. Сев в коляску мотоцикла, Павел Брия выехал на линию фронта. Он так устал, что едва мог бороться со сном.

Несмотря на предшествовавшую мощную артиллерийскую подготовку, неоднократные атаки противника в течение 11 сентября не смогли сломить стойкую оборону румынских войск. Немецкие танки и механизированные колонны двигались в трех направлениях. Две головные группы, намеревавшиеся пойти в обход и взять город в клещи, напали на минные поля. Несколько танков, грузовиков и бронетранспортеров, подорвавшись на минах, вышли из строя; они застыли на поле боя.

5

Пирушка, возглавляемая Антоном Космой, закончилась поздно ночью, когда до города из пограничной зоны донеслась артиллерийская канонада. Косма удивленно спросил:

— Эй, кто здесь открывает шампанское?

Потом до него дошло, что стреляли не пробки из бутылок с шампанским, и он попросил отвести его к машине, ожидавшей у тротуара. Он развалился в ней и приказал шоферу: «Ну, дорогой, давай в Амарадия, если можешь — быстрее ветра!» Инстинкт, выработавшийся за прошедшие четыре года, подсказывал, что усадьба послужит ему отличным убежищем. По сути, там его не беспо-

коили за все время войны ни немцы, ни румынские власти. Он был там хозяином и имел неограниченную власть. Бывший министр, он сумел стать снабженцем германской армии и поставлял ей вагонами зерно, фасоль, сою, подсолнечник, картофель, свиней, овец и крупный рогатый скот.

Кулаки, попы и корчмари дружно бросились к своим телегам и кабриолетам и задали такого стрекача, что цоканье копыт по булыжной мостовой слышалось до самых городских застав.

Город проснулся раньше обычного, объятый тревогами и заботами. Набранный номер газеты «Семеникул» остался в ротационной не напечатанным. В типографский цех вошли четверо мужчин из патриотического отряда. Трем или четверем оставшимся там типографским рабочим старший мастер Франтишек Свобода объявил, что типография временно реквизируется для нужд фронта. За несколько часов было отпечатано воззвание к населению города, подписанное городским комитетом коммунистической партии. В воззвании указывалось, что над городом и его предместьями нависла большая опасность — гитлеровские войска начали наступление от Воеводины. «Коммунистическая партия, — говорилось в обращении, — призывает всех, кто может держать винтовку в руках, вступать в отряды патриотических боевых формирований, чтобы отбросить и уничтожить банды гитлеровских захватчиков».

Гитлеровцы возобновили свои атаки при поддержке артиллерии и танков, но до самого вечера так и не смогли прорвать оборонительный рубеж.

Густые сумерки, словно мазут, залили неосвещенный город. Во внутренний двор госпиталя поступила новая партия раненых. Мирча Ванчиу и другие врачи снова заняли свои места в операционных и работали до утра. Начальник госпиталя приказал им отдохнуть, но не успели они как следует устроиться на походных кроватях, как снова пришлось возвращаться в операционные. Раны большей частью были от разрывных пуль дум-дум. Многие раненые умирали на операционных столах.

Некоторые рассказывали:

— Господин доктор, в немецких окопах есть и легионеры. Они поставили громкоговоритель, крутили пластин-

ки с легионерскими маршами, всю ночь орали, предлагая нам сдаться и перейти на их сторону.

Ванчиу удивлялся, что лежащий перед ним молодой человек не стонал от боли, когда ему отпиливали ногу ниже колена.

— Больно? — спросил он у него, продолжая работать с каким-то ожесточением.

— Нет.

— Где ты работал на гражданке?

— На Решице, в прокатном цехе. Там как на фронте: чуть зазеваешься, тут тебя раскаленной сталью насквозь прошьет.

— Ну вот, теперь все в порядке.

— А на фронт меня пошлют?

— Нет, конечно.

— Эх, жалко...

6

Бенедикт Попеску-Зимнича чувствовал себя трупом. Он двигался, дышал, смотрел, говорил словно во сне, удивлялся тому, что видел вокруг только рабочих с трехцветными повязками на рукаве, и спрашивал себя: куда могли запропасться представители либеральной и цэранистской партий? Он не видел ни Ливиуса Косму, ни Патриция Мынэкутзу, а его отчаянные попытки найти их не дали никакого результата. «Значит, сбежали к немцам», — решил он, стараясь не признаваться себе в охватившем его страхе. В сущности, он жалел, что не поступил так же. 12 сентября вечером ему сказали, что Ливиус Косма был дома, спал как убитый после того памятного ужина и встал всего лишь два или три часа назад. Бенедикт помчался к Ливиусу, который не решался выходить из дому.

— Как дела, дорогой Ливиус? Немцы здорово жмут и с минуты на минуту могут очутиться здесь.

— И что же ты думаешь на этот счет, дорогой Бен?

— Как человек военный, тем более префект, я не могу бежать. Думаешь, мне хочется попасть под военный трибунал?

— А что бы ты сделал на моем месте?

— На твоем месте я бы уехал.

— Куда?

— На дачу Клауз или в Решицу.

— А если остаться на месте?

— Немцы могут поставить тебя к стенке.

— Об отце ты ничего не знаешь?

— Он укрылся в Амарадии.

— Значит, отец не собирается бежать!

Ливиус подошел к телефону, снял трубку и попросил телефонистку соединить его с Амарадией. Единственный телефон в Амарадии находился в усадьбе Космы. Телефонистка соединила, ответив:

— На проводе Амарадия. Говорите, пожалуйста.

Ливиус спросил несколько раз:

— Алло, отец? Алло, отец?

Бенедикт стоял рядом, опершись ладонью о телефонный столик. Ливиус побледнел, услышав то, что говорили на другом конце провода, затем повернулся к полковнику и сдавленным голосом сказал:

— Немцы уже в Амарадии!

Откуда было знать префекту, что какой-то немец сказал Ливиусу по телефону: «Через несколько часов мы будем у вас». Трубка выпала из рук Ливиуса и раскачивалась на черном шнуре, словно маятник часов. Из нее, как с того света, доносился хриплый голос:

— Hallo! Hallo! Wir kommen schnell bei ihnen!¹

Оба вышли из дому.

— Где моя машина? — спросил Ливиус у людей, жавшихся на лестнице к стене.

— Ее реквизировала армия.

Ливиус снова вошел в дом. Полковник не стал ожидать его и направился к зданию префектуры.

Совет Бенедикта Попеску подействовал на Ливиуса, и после ухода полковника он терзался до самой ночи, перебирая в уме различные комбинации. Ведь он приветствовал в «Семеникуле» свержение режима Антонеску и теперь видел себя вздернутым на фонарь нацистским карательным отрядом. Воображение его разыгралось еще больше под действием глухого, как при землетрясении, гула артиллерийской канонады, что свидетельствовало об угрожающем приближении фронта. С этим гулом сливал-

¹ Алло! Алло! Мы скоро будем у вас! (нам.)

ся грохот покидавших город сотен повозок, грузовиков и телег, нагруженных людьми и скарбом.

За четверть часа до полуночи волнение достигло крайней степени. Захватив с собой лишь небольшой чемодан, Ливиус выбежал на улицу и смешался с потоком людей. Позади, освещая ночное небо, раздавались залпы орудий и злобещее уханье ста двадцатимиллиметровых минометов.

7

На исходе того же дня в городском комитете партии состоялось новое, последнее в этом здании заседание. Вернувшись на несколько часов с передовой, Павел Брия доложил партийному бюро о боевой обстановке.

— Что же нам предпринять? — нарушил чей-то голос установившуюся тишину.

Все согласились с предложением немедленно начать эвакуацию раненых из тылового госпиталя, чтобы уберечь их от уничтожения гитлеровцами. Для того чтобы как можно дольше оттянуть оккупацию местности, было решено сооружать баррикады не только на направлении наступления гитлеровских войск, но и на всех окраинах города. Одновременно было принято решение о подготовке городской партийной организации к переходу этой же ночью на нелегальное положение. Молчавший долгое время телефон неожиданно зазвонил. Звонок прозвучал отрывисто, словно сигнал тревоги. Тави снял трубку. Его вызывал Тимишоарский обком партии. На другом конце провода был первый секретарь областного комитета партии. Слышимость была плохая, но Тави сумел разобрать, что первый секретарь обкома интересовался положением в городе. Он скорее угадал, чем понял, о чем говорил первый секретарь обкома: «Вы коммунисты, и оценивайте обстановку без паники, необходимые меры принимайте на месте сами».

В этот момент связь оборвалась, в трубке послышались странные звуки, и Тави показалось, что он слышит грубую немецкую речь.

— Прервали... — Он положил трубку.

— Положение скверное, — сказал Павел Брия, подходя к телефону.

Он попросил коммутатор городской телефонной станции:

— С вами говорит капитан Павел Брия, командир батальона пограничников. Дайте мне начальника телефонной станции.

Спустя некоторое время его нашли, и Павел Брия продолжал:

— Алло, начальник? Срочное дело. Мне нужно немедленно соединиться по телефону с несколькими селами. Сейчас я их назову. Прошу вас не отходить от аппарата и лично проконтролировать соединение. Дайте мне вначале Выртопи. Алло, не отвечает?

В трубке послышалось несколько щелчков, как будто кто-то ломал на коленях хворост, затем раздался хриплый голос немца:

— Hallo! Wer ist das?¹

Этот резкий голос перекрыло тревожное восклицание начальника станции:

— Господин капитан, слышали? Немцы заняли Выртопи.

— Вызывай Рамну, — сказал Павел Брия.

Через несколько минут он получил связь с Рамной. Ему ответила женщина низким, срывающимся от волнения голосом:

— Да, я поняла, вы из города Н. Очень хорошо поняла, кто вы. Я начальник почты села Рамны. Несколько минут назад немцы вступили в село. Грузовики и танки идут прямо по главной улице.

Голос ее звучал так громко, что капитан Павел Брия отстранил трубку от уха, и все, кто был рядом, могли ясно слышать эти слова.

Брия ответил ей:

— Очень прошу вас, очень прошу сообщить все, что вы видели за эти несколько минут. Сколько грузовиков и танков уже прошло?

С другого конца провода снова послышался женский голос:

— Уже стемнело, но я смогла сосчитать их по фарам и по шуму моторов. Прошло не менее десяти танков и столько же грузовиков. Наши еще оказывают сопротивление на восточной окраине села. Слышна стрельба из пулеметов... Колонна грузовиков...

В это мгновение голос женщины резко оборвался, по-

¹ Алло! Кто там? (нем.)

слышался грубый крик, отчетливо произнесенное: «Боже мой!», затем раздался выстрел.

Лицо Брия внезапно потемнело. Сжав трубку в руках, он мрачно взглянул на остальных и сказал:

— Ее застрелили немцы.

Подозрение Брия подтвердилось через секунду, когда на другом конце провода послышался лающий голос, извергавший на немецком языке поток проклятий и ругательств.

— Сколько отсюда километров до Рамны? — спросил Октавиан.

— Десять километров, — мрачно ответил Брия, спешно собираясь на передовую.

В соответствии с принятым решением патриотическим отрядам предстояло оборонять въезды в город, чтобы как можно дольше оттянуть занятие его гитлеровскими войсками.

Капитан Павел Брия вышел из здания горкома и направился на оборонительный рубеж, который находился теперь всего лишь в нескольких километрах от города.

У застав города были воздвигнуты баррикады из наспех спиленных деревьев, вынутого из мостовой булыжника, мешков с песком и мотков колючей проволоки.

Линия обороны города проходила по каменистому берегу реки, старой толстой и прочной кладбищенской стене, фруктовым садам, через опорные пункты в здании кирпичного завода и дома на южной окраине города.

Перед тем как уехать с последним рейсом санитарной машины, Елена Кишкэ заглянула в операционную доктора Ванчиу. Она знала, что он остается на месте. Работы у него не было, операции не предполагалось. Он задумчиво слушал бульканье кипящей воды, в которой стерилизовались хирургические инструменты. Было уже поздно. Оконные стекла слегка дрожали от звука отдаленной артиллерийской канонады. Доктор Ванчиу глядел на голубое пламя, освещающее никелевые стенки сосуда, в котором кипела вода. Он настолько ушел в свои мысли, что не слышал, как открылась дверь. Почувствовав, что в комнате кто-то есть, Ванчиу поднял глаза и вздрогнул. Перед ним стояла Елена.

— Что такое, Елена?

— Через пять минут отправляется последняя санитарная машина...

— Да, знаю... Поезжай, Елена...

Она стояла не двигаясь и, казалось, ожидала, что он скажет ей что-то еще; она стояла в раздумье и глядела на него так, словно хотела помочь ему произнести эти слова. Но он медлил, молчал, и она направилась к выходу. Приоткрыв высокую белую дверь, Елена задержалась немного.

— Всего тебе хорошего, — сказал Ванчиу теплым, душевным голосом, и Елена почувствовала, что вот-вот разрыдается. Она повернулась и выбежала в коридор. Ванчиу подошел к окну, открыл его, выглянул на улицу и увидел у главного подъезда санитарную машину. Она тронулась, и Ванчиу почувствовал, что в нем словно что-то оборвалось. Он глядел вслед удалявшейся машине, пока она не скрылась во тьме.

Всю ночь слышался грохот боев, развернувшихся на широкой дуге, опоясавшей город. Группы вооруженных рабочих, занявших позиции у городских застав, завязали перестрелку лишь с небольшими патрулями противника. Стало ясно, что гитлеровские войска предпочтут обход фронтальному наступлению на город. К утру город проснулся уже окруженным. Последние колонны беженцев, направлявшихся в села, расположенные в долине Алмэжула, около четырех часов утра наткнулись на моторизованные авангарды гитлеровцев. Эвакуация жителей из города прекратилась. Городская партийная организация была вынуждена перейти на нелегальное положение. Партение Копэчан, захватив архив организации, состоявший из нескольких папок, вышел на улицу. Потом вспомнил о чем-то, положил папки прямо на асфальт и, приподнявшись на носках, снял вывеску, которую прикрепили здесь три недели назад. Затем поднял с земли бумаги и направился к своему дому. Он постучал в деревянные ставни окна. Калитку открыла Вета. Он вошел во двор, за ним сухо щелкнула металлическая щеколда.

Октавиан покинул здание горкома последним. Полчаса назад он побывал на баррикадах, сооруженных у городских застав, и распорядился, чтобы люди разошлись по укромным местам и спрятали оружие. Было половина шестого. Блеклая утренняя заря как-то боязливо освещала

шала притихший и нахмурившийся город. Октавиан быстро зашагал домой. Мария в тревоге ждала его.

— К утру город будет занят немцами, — сообщил Октавиан.

— Неужели так плохи наши дела?

— Нас ждут тяжелые испытания. Мы вынуждены будем бороться с врагом, оставаясь в городе, в подполье... И возможно, даже погибнем.

— Октавиан!

— Только не надо так... Тебе же нельзя расстраиваться.

— Знаю... Мне кажется, тебе нужно бежать.

— Ты прекрасно знаешь, как я попал сюда и при каких обстоятельствах мы познакомились.

— Ничего не хочу знать.

— Выслушай меня, прошу тебя.

— Нет, я хочу, чтобы ты ушел, бежал сейчас же.

— Как же я это сделаю?

— Не знаю. Как-нибудь.

— Партия приказала мне остаться здесь.

— Почему же выбрали именно тебя?

— Потому что меня никто не знает в городе.

— Я боюсь. Боюсь за тебя.

— Город окружен. Уйти нельзя. И потом, я знаю: ничего со мной не случится.

— Но ведь ты чуть уже не был расстрелян один раз.

— Второй раз им будет труднее схватить меня. Мне хотелось бы, чтобы ты была умницей и слушалась меня. Мы будем вместе, рядом. Ты ведь моя защита.

Мария положила голову ему на грудь.

— Не хочу, чтобы ты плакала, — сказал ей Октавиан.

— А я больше не плачу!

— Но я чувствую твои слезы...

Новый день необычно тихо вставал над городом. Только вдаль, на востоке, еще слышались артиллерийские залпы, словно раскаты медленно удалявшейся грозы. Город казался безлюдным: никто не решался выходить на улицу. Люди сидели в подвалах и домах, опасаясь стрельбы. На улицах с влажными от утренней росы тротуарами не было ни души. Только часам к девяти появился первый немецкий патруль на мотоцикле с коляс-

кой, в которой сидели двое военных. Один из них не спустил руки со спускового крючка пулемета, сошки которого были установлены на капоте коляски. Мотоцикл промчался по главной улице и возвратился к заставе, через которую он въехал в город. Потом появились солдаты штурмового подразделения. Рассыпавшись цепью, они боязливо перебежали вдоль стен домов.

В это время немецкие авангарды, состоящие из танковых и мотомеханизированных пехотных частей, были остановлены румынскими войсками на линии, проходящей от Сырбулешти на Белые Камни, Крушовены и Рэстоци.

Ливиус Косма, пытавшийся бежать из города, был настигнут немецкими частями недалеко от Сырбулешти и теперь решил выйти навстречу первому попавшемуся немецкому офицеру. Свободно владея немецким языком, он представился гитлеровскому офицеру в качестве профессора Гейдельбергского университета.

— Я доктор права Ливиус Косма. Верховным командованием вермахта был награжден Железным крестом. Вот он — на мне. Проверьте, пожалуйста, и свидетельство о награждении. Оно выдано мне в сорок первом году. Я хочу вернуться в город и прошу немецкое командование предоставить мне надежный и быстрый вид транспорта. Я отдаю себя в распоряжение немецкой армии.

Удивленный поначалу этой встречей, немецкий офицер совершенно успокоился, увидев ленточку Железного креста на груди. Немец предоставил в распоряжение Космы военную машину, и часов в двенадцать тот возвратился в город. От немца Ливиус узнал, что с немецкими войсками на этот участок фронта прибыл румын Николае Модорча, тоже родом из этого города. Ливиус попросил немецкого шофера отвезти его в префектуру. Он полагал, что встретит там своего старого друга, но ему сказали, что «господин Модорча куда-то выехал и вернется примерно через час».

Николае Модорча появился в городе в форме гитлеровского офицера. Он был направлен на этот участок фронта с заданием попытаться сформировать из военнопленных и жителей оккупированной территории хотя бы одну символическую воинскую часть. Пока что в ходе по-

граничных боев в плен попало лишь около пятнадцати румынских солдат и восемь участников боевых патриотических отрядов. Они были захвачены в районе станции и железнодорожного депо.

Несмотря на давление и угрозы, ни один из военнопленных не согласился предать родину, и всех их расстреляли в глиняном карьере недалеко от кирпичного завода. Все члены боевого патриотического отряда на допросе заявили, что являются членами Коммунистической партии Румынии.

— Вам сохраняют жизнь, если вы вступите в нашу армию, — сказали им.

— Мы не предатели родины.

— Это не предательство. Я тоже румын, — убеждал их Модорча.

— Ты не румын!

— Расстрелять немедленно! — приказал Модорча.

8

В полдень Кэтанэ, привыкший обедать в офицерской столовой госпиталя, направился туда, рассчитывая встретить Ванчиу. Он знал, что Мирча не эвакуировался. Кэтанэ был напуган неожиданным оборотом дела и чувствовал, что Ванчиу грозит смертельная опасность. Он хотел как-то помочь ему, но не знал как.

Без всяких происшествий Кэтанэ прошел через центр города. Он видел, как отряды немецких солдат взламывали двери магазинов и покинутых домов, грузили в повозки и грузовики с прицепами все представлявшее какую-либо ценность, все, что можно было забрать с собой. Он шел с поникшей головой, опустив плечи и уткнув подбородок в грудь, оглушаемый криками гитлеровцев, занятых грабежом и разрушениями. Дойдя до здания, где раньше размещался партийный комитет, Кэтанэ увидел, как немецкие солдаты выбрасывают на улицу через открытые окна обломки мебели и выбивают ломами, штыками, саперными лопатками косяки дверей и рамы окон. Солдаты громко кричали, издавая какие-то гортанные звуки; Кэтанэ обошел кучу поломанной мебели и мусора, выброшенного на тротуар, и остановился посреди улицы, наблюдая за «работой» этих разрушителей, но вдруг вздрогнул от окрика и толчка прикладом,

— Verboten!¹ — сказал ему солдат, делая угрожающее движение прикладом, и Кэтанэ молча удалился, вспомнив о том, что пошел искать Ванчиу. Ему казалось, что он видит какой-то кошмарный сон. Он направился в госпиталь, чтобы найти там Ванчиу, но ему было ясно, что не Ванчиу требуется его помощь, а сам он нуждается в его ободряющем и успокаивающем слове.

События, происшедшие 23 августа, он встретил с искренней радостью, но ему все время хотелось поговорить с кем-то, понять до конца то, что произошло. С Ванчиу же, который был постоянно занят, ему все никак не удавалось поговорить.

Кэтанэ дивился множеству разноцветных флагов и отрядам вооруженных солдат, проходивших через город к пограничной зоне. Несколько мимолетных встреч с Ванчиу сводились к вопросам и кратким, телеграфного стиля ответам, подчас даже непонятым для смятенного Кэтанэ.

— Уже одно то, что ты живешь в обществе, среди людей, разделенных на два лагеря, обязывает тебя выбирать, — сказал ему Ванчиу.

— Что выбирать?

— Выбирать между жизнью и смертью. Это важный вопрос, который встает сейчас перед каждым.

— Но я выбрал поэзию!

— Пиши стихи, призывай в них к антифашистской борьбе все население нашего города! А мы сделаем из них листовки, расклеим на стенах, пошлем на передовую.

Теперь его, как никогда, тянуло к Ванчиу. «А вдруг и на этот раз не удастся поговорить с ним?» — беспокоился Кэтанэ. И тут он подумал, что и Ванчиу может сейчас нуждаться в поддержке друга и советчика. Враждебный и дикий разгул, с которым он столкнулся в городе, усиливал его страх за друга.

Кэтанэ без труда проник в здание госпиталя через запасные ворота, через которые обычно проходил в столовую, и поднялся на второй этаж. Он открыл дверь операционной и застыл, увидев группу немецких офицеров и Модорчу, перед которыми, словно осужденный на смерть, стоял Ванчиу.

¹ Запрещено! (нем.)

Шел допрос. Вел его Модорча. Поверх мундира гитлеровского офицера у него был тонкий прорезиненный плащ. Взгляд его был жестоким. Он кусал губы, явно нервничая.

— Кто начальник госпиталя?

— Был полковник, — отвечал Ванчиу. — Он уехал с эвакуированными ранеными солдатами.

— А вас бросил на произвол судьбы?

— У нас есть раненые, которых нельзя транспортировать.

— Мы можем посмотреть несколько медицинских заключений?

— Да.

Ванчиу подал ему одну из карточек. Модорча прочитал ее довольно громко, чтобы могли слышать другие:

— «Солдат Замфир Стамате, призыва тысяча девятьсот сорок четвертого года. Ранен одиннадцатого сентября тысяча девятьсот сорок четвертого года в брюшную полость из огнестрельного оружия разрывной пулей дум-дум». Откуда вы знаете, что это были разрывные пули дум-дум?

— Я военный врач. Даже простой санитар может определить это.

— Вы знаете, что тем самым клевете на германскую армию?

— Раны может осмотреть кто угодно. Можно посмотреть также и осколки пуль.

— Ваша фамилия?

— Мирча Ванчиу.

— Симпатизируете коммунистам?

— Причем тут коммунисты? Я врач.

— Какого вы мнения о коммунизме?

— Я врач!

— Все помещенные в этом госпитале были ранены в последних боях?

— Значит, вы меня действительно допрашиваете?

— Отвечайте на вопросы!

— Слушаю.

— Принесите мне заключения на всех раненых. Быстро!

Модорча пробежал глазами первые листы, затем это ему надоело, и, отбросив листы, он громко сказал:

— Все, абсолютно все воевали против нас.

Ванчиу почувствовал всю свою беспомощность и опустил голову.

Кэтанэ стоял как вкопанный возле двери. Он был ошеломлен тем, что видел и слышал; он удивился и тому, что гитлеровский офицер — Модорчу он совсем не знал — безукоризненно владеет румынским. В это время Кэтанэ, сделав неловкое движение, выронил из рук шляпу, и немецкие офицеры вместе с Модорчей посмотрели в его сторону.

— Кто это? — спросил Модорча у Ванчиу, как будто обратиться прямо к Кэтанэ было ниже его достоинства.

— Это преподаватель городского лицея.

— Преподаватель? — удивленно спросил Модорча при виде скромно одетого и робкого, как юноша, человека.

— Да, преподаватель румынского языка, — сказал Кэтанэ.

— Как же вас зовут, преподаватель? — обратился Модорча к незнакомцу.

— Николае Кэтанэ.

— И что вам здесь нужно? Кто вас послал сюда?

— Я сам пришел.

— Обычно он обедает в столовой госпиталя, — вмешался Ванчиу, боясь, как бы и Кэтанэ не привлекли к допросу.

— Мне хотелось поговорить с доктором Ванчиу, — сказал Кэтанэ.

— Доктор под арестом. Вы не сможете с ним поговорить.

Кэтанэ нагнулся, поднял с пола свою поношенную шляпу и вдруг наивно спросил:

— Извините, пожалуйста, за мой вопрос, но вы не румын по национальности?

Вопрос прозвучал как выстрел.

— На это я вам отвечу завтра, а до тех пор попрошу вас составить компанию господину доктору, — спокойно сказал Модорча.

Он повернулся к эсэсовскому офицеру, который все время молчал, и что-то вполголоса сказал ему. Тот утвердительно кивнул головой, и Модорча продолжал, повысив голос:

— Здесь есть гауптвахта?

— Нет, — ответил Ванчиу.

— Тогда мы ее сделаем.

Окруженные четырьмя эсэсовскими солдатами, Ванчиу и Кэтанэ спустились в подвал здания.

9

С Антоном Космой произошла неприглядная история. Старик решил спрятаться у кухарки Оприцэ, самой верной служанки поместья. Она жила в маленькой комнатухе, в мансарде под крышей. Пышная кухарка едва могла в ней повернуться. Косма прятался в комнате Оприцэ в большой корзине для грязного белья. Немцы, войдя в поместье, даже не спросили, кто его владелец и где он.

— Вы почему так кричите? Мы ничего не сделаем вам. С цивилистыми у нас нет никакого дела,— говорили они испуганным слугам.

Видя, что немцы их не трогают, слуги успокоились, и Оприцэ, которая знала немецкий язык, вступила с ними в переговоры.

— Здесь нет румынских солдат,— сказала она.

— Нам нужна провизия,— заявили немцы.

Оприцэ повела их туда, где стояли бидоны с подсолнечным и тыквенным маслом, бочки с цуйкой и вином, кадки с брынзой, лежали ветчина, солонина, копченая колбаса, имелись запасы пшеницы, кукурузы, фасоли, сои, крупы. Нагрузив провизией несколько грузовиков, гитлеровцы тронулись к границе. Что правда, то правда, немцы принесли старшему Косме значительный ущерб. Один из гитлеровцев совершенно случайно наткнулся на Косму, который дрожал в своей корзине как осиновый лист. Гитлеровец вытащил его за воротник сюртука, думая, что там прячется румынский солдат. Но, увидев похожего на привидение старика и узнав, что это и есть владелец поместья, немцы взяли его под свою защиту.

Косма знал, что теперь его жизнь вне опасности. Отныне все его мысли были о Ливиусе: что с ним?

Ливиус разыскал Модорчу. Префектом тот не стал. Префектура была отдана Патрицию Мынекутзе, который прятался в городе и вылез на белый свет одновременно с приходом в город гитлеровцев. Встреча Ливиуса с Модорчей была полна дружеских излияний.

— А не говорил ли я тебе, что мы встретимся? — гордо спрашивал Модорча.

— Я ни на мгновение не сомневался в этом,— отвечал Ливиус с почтением и в то же время с достоинством.

— Ну, наконец ты переходишь к нам?

— С радостью. Видишь, я уже с вами.

— Я знал, ты настоящий румын. В Бухаресте камрад Гораций Агадичиу, выполняя приказ Хория Симы, рекомендовал legionерам записываться в партию господина Юлиуса Маниу.

— Я слышал об этом и был очень рад такому обороту дела.

— Там мы перешли к вам, а здесь вы переходите к нам. Закон сообщающихся сосудов.

— А ты совсем не изменился. В Берлине, когда мы в последний раз виделись, ты мне показался каким-то усталым...

— Ну а теперь?

— Свеж как огурчик.

— Да и ты неплохо выглядишь.

— Мои мысли заняты лишь одним...

— Чем же именно?

— Что принесет новая военная ситуация?

— Главная цель — это выйти на линию Карпат от Прислопа до Оршовы. Немецкие войска подходят к Брашову, заняли Турду и продвигаются к Алба Юлии. Арад в наших руках, захват Тимишоары — вопрос ближайших часов.

— Но я слышал, что и Болгария разорвала союз с немцами.

— Дорогой мой Ливиус, чтобы судить о положении в целом, надо знать одну-единственную вещь.

— Какую же?

— Гитлер вскоре пустит в ход самое страшное секретное оружие, какое когда-либо имело человечество. И еще — ты вырос в этом отвратительном, глубоко провинциальном городишке и потерял чувство перспективы.

— Это правда.

— Знаешь, я хотел тебя спросить кое о чем.

— Говори.

— У тебя еще есть типография?

— Разумеется. В последний раз, когда мы виделись в Берлине, я как раз приезжал за новым, современным оборудованием.

— Вспоминаю. Ты говорил о каких-то линотипах, ротационных машинах... Ты их достал?

— Да.

— Нам нужна твоя типография.

— Она к твоим услугам.

Именно в этот момент, когда два приятеля толковали о типографии, город неожиданно потряс сильный взрыв.

— Что случилось? — спросил Ливиус удивленно.

— Не пугайся. Начались карательные мероприятия. Я слышал, что коммунисты вышли из подполья.

— Да, к сожалению.

— И даже обзавелись своим помещением.

— К несчастью.

— Хотелось бы и мне посмотреть на него.

— Пойдем посмотрим.

Между тем Ливиус вспомнил, что начиная с 23 августа «Семеникул» стал ежедневной газетой и на его страницах было напечатано довольно много материала, компрометирующего его, Ливиуса, перед немцами. Вероятно, после посещения здания горкома коммунистической партии Модорча захочет посмотреть типографию и, придя туда, непременно увидит последнюю часть подшивки «Семеникула».

Тут навстречу друзьям словно из-под земли вырос Патриций Мынекутза. На нем лица не было. Он несколько не удивился появлению Ливиуса и Модорчи. Сдавленным от волнения голосом Мынекутза произнес:

— Коммунисты совершили нападение, господин Модорча!

— Какое нападение, префект? Где?

— Взлетела на воздух типография «Семеникула».

— Когда это случилось?

— Двадцать минут назад. Сейчас она горит, как канистра с бензином.

Группа оставшихся в городе коммунистов по указанию партии разместились на конспиративных квартирах. Октавиан еще не знал, что положение на фронте должно было вот-вот стабилизироваться. Наступление немцев выдохлось, и теперь они продолжали оказывать сильное

давление лишь на единственном участке шоссе, идущем через село Алмажул до Ябланицы по железнодорожной линии Оршова—Тимипшоара. Передовые гитлеровские части достигли Бозовичей, но там были остановлены двумя ротами, посланными из Мехадии, к которым присоединились сотни наспех вооруженных местных крестьян. Немецкий авангард силами до двух взводов, как в крепости, укрылся в казарме полка пограничной стражи времен императрицы Марии-Терезии, но подразделения румынской армии и несколько сот местных крестьян организовали контратаку, в результате чего гитлеровцы потеряли связь с основными силами наступавшей немецкой колонны. Деморализованные случившимся, они группой человек в шестьдесят вышли из горящего здания казармы с белым флагом. Между тем к линии, на которой румынские войска вели бои с гитлеровцами, стали прибывать подразделения Советской Армии, и все попытки гитлеровцев продолжать наступление были сорваны, а на некоторых участках немцы были отброшены к самой границе.

Весь день Октавиан оставался в подвале дома. Дубовые ворота, выходившие на улицу, были заперты на ключ, и Мария, прекрасно знавшая немецкий язык, готовилась сыграть роль обывательницы, весьма довольной тем, что немцы вновь овладели городом. Важно было выиграть время, отвести угрозу обыска. По сравнению с прошлыми месяцами, в течение которых Октавиану пришлось здесь укрываться, теперешнее положение, когда городом вновь овладели гитлеровцы, охваченные жаждой репрессий, было куда опаснее. В городе оставалось почти три четверти населения — около семидесяти тысяч мирных жителей, напуганных пожарами, взрывом типографии, непрерывным уханьем фугасов замедленного действия, не оставивших камня на камне от тех нескольких складов, которые не успели эвакуировать. Гитлеровцы из карательных отрядов, эти банды разгоряченных грабежом воров, собрали за день целые горы сваленных вместе подушек, пуховых перин, одежды, мешков с мукой, ящиков с сахаром. Огромные колонны машин и телег постепенно увозили все это к границе. Туда же гнали стада скота, собранного по дворам жителей близлежащих сел. Грабеж не прекращался даже ночью. Вечером город освещался только заревом пожаров, которые никто не тушил. На площади Объединения, где помещался город-

ской комитет коммунистической партии, огромным костром продолжали гореть обломки мебели, выброшенные из разоренных квартир.

Немецкая военная полиция разыскивала старшего мастера типографии Франтишека, который куда-то исчез. Его видели днем входящим в типографию с портфелем, в котором, как показалось кому-то, было что-то тяжелое. Он заперся в типографии, так как только у него, да еще у владельца, был ключ от входа, и вышел оттуда часа через два, но уже без портфеля. Выйдя, он запер дверь и исчез в узких кривых улочках города. Через четверть часа после этого послышался взрыв, который долетел до слуха двух приятелей — Модорчи и Ливиуса. В ту же ночь на стенах десятков домов появились нанесенные красной краской буквы «КПР» и эмблема коммунистической партии.

На второй день объявился Вартиадис. Он разыскал Модорчу и передал себя в его распоряжение.

Вартиадис взял в свои руки дело по раскрытию в городе коммунистической сети. У него снова работал Заберка, которого арестовали 24 августа и посадили в тюрьму, но после неожиданного нападения гитлеровцев его освободили. Узнав о деятельности Октавиана Дамшу, Модорча начал лихорадочно вспоминать, где он слышал это имя. Откуда-то он знал его: ему однажды уже пришлось иметь дело с человеком, который носил эту фамилию, и он лихорадочно рылся в своей памяти. Однажды ночью он вспомнил: такую фамилию носил один из воевавших в Испании добровольцев Интернациональной бригады. Он попал в плен, и, поскольку пленный оказался румыном, Модорча принял тогда участие в допросе.

На второй день по инициативе Модорчи в маленькой фронтовой немецкой типографии, в которой не нашлось некоторых специфических для румынского алфавита букв, было напечатано и расклеено на всех стенах следующее объявление германского командования:

«В городе скрывается опасный коммунист, которого зовут Октавиан Дамшу. Все, кто знает о его местонахождении, обязаны сообщить об этом немецкому командованию. Тот, кто поможет в поимке Октавиана Дамшу, получит в награду 100 000 лей».

На следующую ночь на большинстве этих объявлений появились написанные красной краской буквы «КПР».

Вартиадис понял, что и теперь поимка коммунистов — задача ничуть не легче, чем прежде. Любой из стоящих в очередях возле булочных и бакалейных магазинов мог быть коммунистом. Он посоветовал Заберке пошататься днем по улицам, постоять в очередях, послушать разговоры, последить за людьми.

— Ты много лет работаешь в сигуранце, — сказал ему Вартиадис, — и должен нюхом чувствовать то, что отличает коммуниста от других людей.

11

Мария принесла Октавиану из города, куда она пошла купить хлеба, а главное, понаблюдать за тем, что там творится, объявление гитлеровской комендатуры о награде в 100 000 лей за его обнаружение и поимку. Мария рассказала ему обо всем, что видела и узнала:

— С немецкими войсками прибыл легионер по имени Николае Модорча. Он живет у адвоката Ливиуса Космы, хозяина газеты «Семеникул», переметнувшегося опять на сторону немцев. Мынекутза назначен префектом. Ты должен его знать. Он был либералом и адвокатом, как и Ливиус. Мирчу арестовали вместе с Кэтанэ, и где они теперь, неизвестно. Боюсь, как бы его не отправили в Воеводину. По улицам ходят патрули немецкой военной полиции и проверяют документы. Они запретили ходить по улицам группами более чем в два человека.

Октавиан нахмурился.

— Да, я забыла сказать еще одну вещь. Вновь появился Вартиадис; он руководит сигуранцей и полицией. Я боюсь...

— Постой, давай обсудим все спокойно: бесспорно, они узнали мое имя. Но никто, за исключением Мирчи, не знает, что я тут, у тебя. Франтишек надежно укрыт. Брия на фронте. Арестован один Мирча. Заставили ли они говорить Мирчу? Не думаю. Я его знаю хорошо. Он ничего не скажет. Я убежден в этом...

Подвал, в котором прятался Октавиан, освещался электрической лампочкой; там стояли лавка, небольшой столик, стул, ларь для еды и канистра с водой. Напеча-

танное гитлеровской комендатурой объявление лежало на лавке. Октавиан еще раз с мрачным видом перечитал его, затем поднялся по ступенькам лестницы и постучал в люк. Мария отодвинула в сторону стол, джутовый ковер и, подняв люк, тревожно спросила:

— Что случилось?

— Куда ты положила ту тетрадь?

— Она у тебя на дне ларя.

Октавиан снова спустился по деревянным ступенькам лестницы и стал лихорадочно рыться в ларе. Он вытащил оттуда тетрадь и подошел с ней ближе к свету. Несколько минут он листал страницы, исписанные мелким почерком, затем пододвинул стул к столику и начал читать.

«...Мы вошли в соприкосновение с противником в секторе Махадахонды. Личные вещи вместе с этой тетрадью, как обычно, я оставил в обозе. Я уж думал, что больше не увижу их. В часть возвратился лишь накануне наступления на Махадахонду.

...Эти строки я пишу спустя неделю после всего случившегося, и, по правде говоря, у меня еще не прошли горечь и страх от всего пережитого. Наступление началось ночью, и после тяжелого боя, продвигаясь от дома к дому, от улицы к улице, мы захватили большую часть города. Но то ли из-за темноты, то ли из-за начавшегося дождя, который буквально залил поля и окраину города, наше отделение оказалось совершенно отрезанным, в тылу у противника. Мы это заметили, когда было уже поздно пробиваться к своим. Попытка прорваться на рассвете окончилась безуспешно. Мы все вшестером с двумя пулеметами оказались в плену. Я был единственным в отделении румыном. Были еще трое немцев, один итальянец и серб. Когда фашисты узнали, что я румын, они стали искать среди воевавших здесь гитлеровцев человека, который знает румынский язык. Наконец они нашли одного. Я убежден, что он не воевал в боевых частях. Форма его была чистенькая. Он спросил меня:

— Вы румын?

Понимая, что секрета в том никакого нет, военной тайны — тоже, я ему ответил:

— Да, румын.

Вначале он показался мне человеком дружелюбным. Он полагал, что без особых осложнений перетянет меня на сторону фашистов. Во всяком случае, как это выяс-

нилось сразу, ему хотелось, чтобы я обратился по радио к своим соотечественникам с предложением переходить с оружием и военной амуницией на их сторону. Само собой разумеется, я не принял сделанного мне предложения и открыто заявил, чтобы он не тратил времени зря. А он продолжал говорить в благожелательном тоне, как барин, считающий себя полным хозяином судьбы своего слуги и из великодушия дарующий ему жизнь.

— Если это настоящее имя, а не конспиративное, как это у вас, коммунистов, заведено, вы или из Баната, или из Трансильвании,— сказал он.

Я ответил, что я из Баната.

— Bravo! — обрадовался он. — И я из Баната, из города Н.

— Я слышал про город Н., но там никогда не был.

— Какое это имеет значение? Мы оба румыны, этого достаточно.

— Между нами большая разница. Вы же фашист!

Он, по-видимому, гордился своей принадлежностью к фашистам. Мы были одни, я и он, да еще часовой-мавр, стоявший с отсутствующим видом. Легионер продолжал терпеливо уговаривать меня перейти к ним на службу, а лицо его, все изъеденное оспой, выражало злобу.

— Меня зовут Николае Модорча, а вас — Валериу Дамшу. У нас обоих румынские имена, мы говорим на одном и том же языке и все-таки не можем договориться. Знаете, ваша жизнь висит на волоске. Если будете упорствовать и корчить из себя героя-революционера, можете быть уверены: мы вас поставим к стенке. Вы же не хуже нас знаете, что мы не шутим. Не так давно ваши мадридские республиканские газеты писали об этом: мы взяли в плен республиканского летчика, иностранного добровольца, не испанца. Он выпрыгнул с парашютом из подбитого самолета. Наши его подобрали. Ему было предложено подписать заявление, что он отказывается от коммунистических взглядов и переходит на нашу сторону. Но он отказался. Тогда его разрубили, как поросенка, на куски, упаковали в консервный ящик, погрузили в «юнкерс» и вместе с соответствующей порцией бомб сбросили над Мадридом. Может быть, вы хотите, чтобы то же самое сделали и с вами? Мне будет очень жаль, если мы пойдем на это, господин Валериу Дамшу: мы же одной крови и говорим на одном языке...

Два часа он бился со мной, пытаюсь запугать. Но, увидев, что вся его болтовня напрасна, он истерически закричал:

— Завтра на рассвете я отправлю вас в Мадрид разделанным на кусочки, господин коммунист Валериу Дамшу!

Он ушел разъяренный. Я был немедленно посажен в городскую тюрьму вместе с другими пятью товарищами, попавшими со мной в плен. Прошел день. Никто не дал нам поесть, никто нами больше не интересовался — казалось, фашисты забыли о нас совсем. Когда сгустились сумерки, послышалась артиллерийская канонада, и мы поняли, что где-то рядом с городом дерутся наши товарищи из Интернациональной бригады. Так оно и было. Наши атаки на Махадахонду возобновились, и в полночь после изгнания фашистов из города нас нашли и освободили».

Прочитав эти заметки, Октавиан подумал: «Мир тесен, господин Модорча! Как хочется напомнить тебе о Валериу Дамшу!»

12

Вопреки драконовским приказам гитлеровского командования, в которых говорилось о расстреле на месте тех, кто слушает радиопередачи из Бухареста, оставшиеся в городе жители, имевшие радиоприемники, продолжали слушать их. Запирали двери, закрывали окна подушками и перинами, накрывались с головой одеялами и слушали. И хотя город был почти полностью изолирован от страны, его жители знали сложившуюся в других местах политическую и военную обстановку. Бои по освобождению городов Турды и Арада закончились победой румынской армии; в районе западнее Тимишоары вторгшиеся части гитлеровцев были вынуждены отступить по ту сторону границы.

Город Н. стонал под сапогами нацистских оккупантов, а невидимая связь между ним и освобожденной частью страны крепла. Жители города шепотом передавали услышанные по радио вести, они знали, что дни пребывания гитлеровцев в городе сочтены. Надписи, сделанные ночью на стенах зданий, маленькие, всего с ладонь листовки,

напечатанные Франтишекком в его тайнике, а потом разбросанные ночью по дворам, улицам, наклеенные на оконные стекла и стены домов группами коммунистов и утечистов, поднимали дух горожан. Через Марию Октавиан послал Франтишеку текст листовки, в которой местная партийная организация призывала население быть готовым к изгнанию гитлеровцев из города. Листовки, напечатанные в тот же день, ночью появились на стенах города. Это вывело Модорчу из себя. Вартиадис поставил на ноги всю полицию, но Модорча метался как зверь в клетке. Теперь его самого охватывал страх при виде подозрительных передвижений немецкого гарнизона в городе: уж очень все это было похоже на подготовку к отступлению.

...Мирча и Кэтанэ вот уже пять дней сидели в глубоких и темных подвалах военного госпиталя. Модорча совершенно забыл о них. Пять дней просидели они там и, так как помещение находилось под землей, а окна были заделаны кирпичом, очень скоро потеряли всякое представление о времени. У них отобрали шнурки от ботинок и ремни от брюк, чтобы пресечь любую попытку к самоубийству, хотя они о том совсем и не помышляли. Больше всего их мучила невозможность ориентироваться во времени. У Ванчиу были часы, но их конфисковали при обыске. Еды им не давали; казалось, немцы решили их уморить голодом. Пораженный спокойствием Кэтанэ, Ванчиу, знавший, какая судьба их ожидает, убедился, что преподаватель был человеком со странностями, витавшим где-то в мечтах и не понимавшим той опасности, которая им грозит. Они сидели на куче опилок в абсолютной темноте и разговаривали вполголоса, хотя в этом подвале их никто не мог услышать.

— Я давно подозревал, что вы коммунист, — сказал Кэтанэ.

Ванчиу не спешил сказать ему ни «да», ни «нет».

— Тот, кто меня допрашивал, — легионер. Было бы куда лучше, если бы вы не разыскивали меня именно тогда. Вы словно с неба свалились и, вероятно, не отдаете себе отчета о последствиях всего случившегося.

— Вас обвиняют в том, что вы заботились о раненых. Так я понимаю?

— Вы поняли правильно.

— Но такое обвинение — это ведь чистое злодейство!

— А фашизм — это и есть злодейство.

Ванчиу говорил с пылкой убежденностью. Кэтанэ слушал его молча, изредка задавая какой-нибудь вопрос. Наговорившись, они легли спать. Надо было как-то заглушить чувство голода.

— Кажется, нас совсем не собираются кормить, — сказал Ванчиу.

— Однажды я целую неделю ничего не ел, кроме хлеба и воды.

— Так это же рекорд!..

— Мне хотелось купить книги Рилке и Бодлера.

— На этот раз вы ничего не купите.

— Что делать!

Задремали. Когда проснулись, было все так же темно. Опять заговорили. Ванчиу вспоминал свое детство, студенческие годы. Кэтанэ слушал. Иногда спрашивал: что такое профессиональный революционер? Это правда, что Анатоль Франц был коммунистом? Почему Гитлер окрестил свою партию национал-социалистской?

Кэтанэ попросил Ванчиу не осуждать его за эти вопросы и не смеяться над ним. Ванчиу слушал его внимательно, отвечал на вопросы просто и серьезно.

Потом они опять решили поспать.

— Надо делать как можно меньше движений, чтобы не расходовать зря энергию. Попробуем больше спать, как это делают медведи, проводящие зиму в берлоге, — сказал Ванчиу.

Он задремал быстро. Кэтанэ же продолжал лежать, устремив взгляд в непроглядную темень, словно перед ним мелькали кадры невидимого для других глаз фильма. Потом проснулся Ванчиу, и они лежали в темноте молча.

— А вы так и не заснули? Надо спать.

— Что поделаешь, если сон не идет ко мне.

— Спите. Сосчитайте до тысячи — и заснете.

— Если бы я знал, что вы не будете смеяться, я признался бы вам кое в чем...

— В чем?

— Я сочинил стихотворение...

— И поэтому не спали?

— Я даже и не представлял себе, что можно обойтись без карандаша и бумаги...

— Это требует большого напряжения. Зачем вы себя истощаете?

— Поэзия никогда меня не изнуряет. Хотите, я прочту вам стихотворение?

— Разумеется.

— Смеяться не будете?

— Не буду.

Кэтанэ зашевелился, и Ванчиу понял, что Николае поднялся на ноги. И вдруг повалился на пол.

— Что с вами? — спросил Ванчиу.

— У меня закружилась голова.

— Головокружение — первый признак истощения. Вы должны лежать.

— Мне хочется, чтобы вы послушали стихи.

— Читайте лежа.

Кэтанэ начал читать...

13

Гитлеровская комендатура приказала Патрицию Мынекутзе и Вартиадису принять энергичные меры к изъятию и конфискации всех радиоприемников в городе. В результате конфискации была собрана целая повозка приемников — около шестидесяти. Все это говорило о том, что, вопреки опасности, которая витала над головами их владельцев, в городе имеются сотни радиоприемников.

Люди продолжали слушать последние известия, передаваемые радиостанциями Бухареста и города Бода. Стало очевидным, что в результате ударов румынских и советских армий гитлеровские оккупанты будут вынуждены в скором времени оставить город и прилегающую к нему область.

Связь Октавиана с Франтишеком, Копэчаном, а также с отрядами патриотической гвардии, как и раньше, осуществлялась с помощью Марии. Работу свою она не бросила и по-прежнему ходила по улицам города, ни у кого не вызывая подозрений. Мария рассказывала Октавиану о настроениях жителей, о всех мелочах.

Ночью на конспиративную квартиру пришел переодетый в поношенную крестьянскую одежду тот самый солдат-утечист, который несколько недель назад довез Октавиана на военной машине до железнодорожной будки, где он встретился с представителем областного комитета партии. По нехоженным тропинкам связному удалось пройти

линии гитлеровских войск. Павел Брия просил передать Октавиану, что начало наступления назначено на следующую ночь. Беседа Октавиана со связным состоялась в подвале. Внезапно связной побледнел и, смущаясь, признался, что при одном воспоминании о переходе через линию фронта его начинает трясти. Он настолько устал, что не мог даже есть. Вскоре Октавиан заметил, что солдат задремал. Тогда он разбудил его и сказал, чтобы тот ложился на лавку и никуда не выходил до его прихода. В полночь Октавиан решил пойти на конспиративную квартиру, где находились Копечан и четыре бойца из боевого отряда патриотической гвардии. Мария не спала.

— Тебе обязательно нужно идти? — спросила она Октавиана.

— Да.

— Я буду волноваться. Столько людей погибло...

— Не беспокойся. Все будет хорошо.

Мария обняла Октавиана.

— Ну почему ты не хочешь быть умницей? — проговорил Октавиан, пытаясь освободиться от ее объятий.

— Не гони меня! — просила Мария.

— Меня ждут люди.

— Ничего. Пусть подождут немножко. Давай посидим минутку.

— Ну вот, я сел.

— Теперь молчи. Смотри мне в глаза и молчи.

— Смотрю.

— У тебя такие чудесные глаза!

— Теперь можно идти?

— Да.

Они поднялись. Октавиан вышел из дому и исчез в темноте сада. Из города доносился гул немецких автоколонн, которые шли к фронту или направлялись к границе с награбленным в деревнях добром. По небу плыли черные тучи. Моросил мелкий, холодный дождь. Был конец сентября.

На конспиративную квартиру Октавиан шел задворками, мимо полуразвалившихся оград и пустых сараев. В самом конце пути надо было пересечь пустынную улоч-

ку, которая по непонятным причинам называлась Красивой. Добравшись до этой улочки, Октавиан остановился. Прислушался. Теперь надо было перелезть через каменную ограду, перейти улицу, перебраться еще через один забор и перебежать заросший сад.

Дорогу Октавиан знал как свои пять пальцев, но в ту ночь случилось неожиданное: он наткнулся на немецкий патруль. Произошло это на улице Красивой. Подождав несколько минут, чтобы убедиться, что на улице никого нет, и решив, что она пустынна, Октавиан с легкостью кошки вспрыгнул на стену — и неожиданно столкнулся с гитлеровцами. Те направили на него автоматы и, осветив карманными фонариками, закричали: «Руки вверх!» Гитлеровцы повели Октавиана в комендатуру, которая размещалась в казарме пограничного батальона. При обыске ничего компрометирующего не нашли. Удостоверение личности было в порядке: Ион Гэлетару, беженец. Но на душе у Октавиана было беспокойно. Он твердо решил молчать, что бы ни случилось. До утра его продержали под арестом в комендатуре вместе с другими пятнадцатью арестованными. Среди них он увидел знакомого железнодорожника, коммуниста, бойца отряда патриотической гвардии. Помещение, где сидели арестованные, освещала засиженная мухами электрическая лампочка, горевшая всю ночь. Единственное окно было завешено снаружи серым солдатским одеялом. На его фоне чернели толстые прутья решетки. Октавиан понимал, что он ни в коем случае не должен заговаривать с рабочим-железнодорожником. Тот, хотя и узнал Октавиана, тоже делал вид, что видит его впервые. Оба не без основания предполагали, что среди них может находиться шпик. Так они и просидели всю ночь в трех шагах друг от друга, не сказав ни единого слова. Успокоившись, Октавиан пришел к выводу, что у него есть шанс спастись. Он надеялся, что его освободят во время «просеивания» арестованных. С рабочим-железнодорожником дело было ясным: у него нашли револьвер с пятью обоймами. Этого было вполне достаточно для расстрела. Над Октавианом же, как и над всеми арестованными, висело подозрение, что он коммунист. Предварительный допрос, которому его подвергли, ничего не дал, и его снова посадили под арест. Допрашивал арестованных сам Модорча. Он оглядел всех арестованных подозрительными злыми глазами, но откуда Октавиан

мог знать, что этот мужчина — Модорча. Не знал он и того, что увидит Марию. Утром она, как обычно, пошла за хлебом. Она провела тяжелую, беспокойную ночь, но ей и в голову не приходило, что Октавиан мог попасть в руки немецкой военной полиции.

Начальник полиции был опытным гестаповцем. У него созрел простой, но, по его мнению, гениальный план. Он решил собрать на самых многолюдных улицах города человек пятьдесят—сто, привести их в комендатуру и провести мимо шеренги арестованных, полагая, что это может дать неплохие результаты.

Мария встала в хвост огромной очереди около одной из булочных. Перед магазином остановилась немецкая военная машина. Выскочившие из нее гитлеровцы выбрали из толпы человек тридцать; среди них оказалась и Мария. Людей затолкнули в машину и повезли в комендатуру. По прибытии на место схваченных провели вдоль шеренги арестованных и, угрожая расстрелом, требовали выдачи коммунистов.

Увидев Октавиана, Мария почувствовала, что у нее подкашиваются ноги, но она взяла себя в руки и с безразличным видом прошла мимо него. Так же поступили все остальные. Людей отпустили, арестованных заперли в том же самом помещении. Мария сразу же пошла на квартиру Копэчана и сказала Бете:

— Сегодня ночью арестовали Октавиана. Я видела его своими глазами. Надо предупредить товарища Копэчана. Он один знает, что надо делать. С фронта прибыл солдат. Он у нас дома. Говорит, что ночью наша армия начнет наступление.

Бета на полчаса вышла. Вернулась озабоченной.

— Ну что? — спросила Мария.

— Все это очень некстати...

— Что же делать?

— Не знаю.— Бета не хотела говорить Марии, что Партение Копэчан в сердцах воскликнул: «Вот тебе и на! Этого еще нам не доставало! Теперь Октавиана не спасешь».

Мария пошла домой. Она не знала, что в это самое время немецкая комендатура прибегла к последнему средству. В присутствии Модорчи, который играл роль переводчика, начальник гитлеровской военной полиции гарнизона вызвал на последний допрос железнодорожника, у

которого при обыске среди тряпок обнаружили револьвер. Офицер СС спросил железнодорожника:

— Знаешь ли ты, что одного этого револьвера уже достаточно, чтобы расстрелять тебя?

— Знаю, но ведь этот револьвер кем-то подброшен!

— У нас нет времени разбираться во всем этом. Спрашиваем последний раз: признаешь свою вину?

— Господи помилуй, но я же ни в чем не виноват!

— Признаешь себя коммунистом?

— Да какой я коммунист, господин!

— Впрочем, и это нас не интересует. Мы хотим только одного. Если окажешься умным, спасешь свою жизнь.

— Что я должен сделать?

— Ты должен сказать нам, кто из арестованных коммунист. Войдешь в камеру, подойдешь к нему, скажешь что-нибудь, а потом попросишь закурить. Никто и знать не будет, что ты нам показал коммуниста.

— Но я никого из них не знаю! Откуда же мне знать, кто коммунист, а кто нет?

— Значит, не хочешь нам помочь?

— Каким же образом, господин?

Модорча на немецком языке обратился к офицеру СС:

— От этого человека мы ничего не добьемся. Или он действительно не знает этих людей, или просто не хочет выдавать товарищей.

Офицер СС приказал вывести железнодорожника во внутренний двор комендатуры и расстрелять. Немецкие солдаты из военной полиции подняли одеяло, висевшее на окне, чтобы четырнадцать узников стали свидетелями расправы над рабочим-железнодорожником. Потом одеяло вновь опустили.

Стало смеркаться. Октавиан в напряженной тишине думал о Марии. Она видела его, знает, что он арестован. Он старался представить себе, что она делает: идет к Вете, рассказывает ей, Вета идет к Копэчану. Но тот не должен предпринимать безрассудных действий для его спасения до начала наступления румынских частей, ибо это может повредить общему делу. Попытка освободить его привела бы к напрасным жертвам и вызвала бы репрессии со стороны гитлеровцев. Что же касается его самого, то все зависело от времени. Октавиан понимал, что в борьбе с немецкой военной полицией, борьбе между ним и тем, гражданским, говорящим по-румынски, в кото-

ром он еще не подозревал Модорчу, главное — время. Только бы выиграть несколько часов! Если начало наступления застанет его живым, тогда все кончится хорошо. В течение дня он несколько раз ловил себя на мысли, что думает о происшедшем спокойно, словно речь идет не о нем самом, а о ком-то другом. «Как бы там ни было, я погибну не напрасно», — решил Октавиан.

15

Дом, где скрывался Копэчан вместе со своими четырьмя товарищами, принадлежал местному немцу, шахтеру-пенсционеру из Анины, поселившемуся в городе много лет назад. Он был старым подпольщиком, однако его национальная принадлежность исключала подозрения комендатуры. Так что обратить на него внимание могли только в силу какой-нибудь случайности. Дом этот справедливо считался самым подходящим местом для укрытия группы. Накануне отхода здесь спрятали продовольствие, оружие. Все это было сделано настолько умело, что даже соседи бывшего шахтера ничего не заподозрили. В случае если бы в дом зашел какой-нибудь немецкий патруль для проверки, старый шахтер должен был разыграть комедию: говоря по-немецки, показать документы, а затем для большей убедительности гаркнуть: «Хайль Гитлер!» Шахтеру посоветовали еще упомянуть, что сын его служит добровольцем в вермахте. Этого уже было более чем достаточно. Если же патрульные все-таки захотели бы осмотреть дом, их предполагалось обезоружить и ликвидировать. Копэчан и его товарищи усердно чистили оружие, стараясь говорить вполголоса и как можно меньше двигаться. Хозяин дома тем временем следил за обстановкой.

День провала Октавиана был для них самым тяжелым днем. Тянулся он медленно. Вероятно, это был самый длинный день в их жизни. Часам к десяти вечера с востока послышался грохот тяжелой артиллерии. Началось наступление румынских частей.

Не прошло и часа, как в город стали прибывать немецкие санитарные повозки, автомобили с ранеными. Их сразу же переправляли через границу.

Копэчан составил план действий. Первым объектом нападения было здание комендатуры,

Модорча высказал предположение, что среди арестованных есть группа людей, подозрительно напоминающих коммунистов. Не зная, насколько он близок к истине, Модорча воскликнул:

— И когда думаешь, дорогой мой Ливиус Косма, что среди них может быть сам Октавиан Дамшу, хочется рвать на себе волосы! Вот стабилизируется фронт, с Балкан к нам подойдет подкрепление, и ты увидишь, что мы здесь сделаем!

— Но я-то, дорогой Модорча, знаю Октавиана Дамшу. Я, правда, с ним не разговаривал, но мы вместе с ним были на совещании в префектуре в ночь на двадцать четвертое августа. Мне тогда сказали: «Смотри, этот человек — Октавиан Дамшу, главарь коммунистов города. Он послан сюда областным комитетом коммунистической партии Баната».

— Ты это серьезно? — спросил Модорча.

— Конечно. Я узнаю его среди тысяч людей. Даже если он приклеил фальшивую бороду.

Разговор этот происходил в доме Ливиуса, где жил и Модорча. Оба вышли из дому и направились к центру. Ливиус был доволен тем, что мог продемонстрировать свою лояльность фашистскому режиму. Подгоняемый этой мыслью, он призывал господ бога помочь ему.

В это время снова послышался грохот тяжелой артиллерии. Ливиус Косма с удивлением посмотрел на Модорчу.

— Не беспокойся, дорогой. Немецкие войска задумали прорвать фронт, и, возможно, наши танки мчатся к железнодорожной линии Оршова—Тимишоара.

Эти слова успокоили Косму, однако вскоре послышались выстрелы в самом городе. Внезапно атакованная охрана казармы, где разместилась комендатура, была быстро уничтожена. Операцией руководил Копэчан. Ликвидировав гитлеровскую охрану, группа проникла под своды главных ворот и отсюда вошла сначала в караульное помещение, а затем в помещение гауптвахты. Дверь выбили прикладами винтовок. Так произошла встреча Копэчана с Дамшу.

— Обниматься будем потом, — сказал Копэчан.

Четырнадцать арестованных схватили винтовки, сто-

явшие в караульном помещении, и присоединились к группе Копэчана. Вооруженные группы рабочих нападали на немецкие караулы, расставленные у телефонной станции, на вокзале, у железнодорожного депо.

Засады вооруженных рабочих застали Косму и Модорчу врасплох в тот момент, когда они шли к комендатуре, чтобы опознать Октавиана. Испугавшись выстрелов, они побежали в префектуру. Там у самого края тротуара стоял броневедомоцикл. Они побежали к нему. Добежав до броневедомоцикла, увидели, как из здания комендатуры пулей вылетел и бросился к машине начальник немецкой военной полиции.

— Возьмите нас! — крикнул Модорча по-немецки, но в ответ послышался резкий гул мотора. На площади появилась первая группа вооруженных рабочих. Модорча и Ливиус Косма, преследуемые огнем автоматов, скрылись в здании префектуры. Косма быстро потерял Модорчу из виду. Возможно, он сделал это умышленно. Косма понял, что в здании префектуры его могут схватить, поэтому он выскочил во внутренний двор здания, проскользнул в его левое крыло, через окно прыгнул в сад и окольными путями добрался до шоссе, которое вело к границе. Косме повезло: здесь его догнала отступавшая к границе немецкая автоколонна. Это были машины какой-то саперной части. Они остановились у моста. Саперы занялись минированием его. Косма представился гитлеровскому офицеру по-немецки. Тот не был с ним знаком, но слышал о нем. Спросил, не видел ли он Модорчу.

— Не видел, — обманул его Косма.

Офицер предложил ему занять место в головной машине. Через четверть часа колонна двинулась к границе, оставив у моста двух солдат-саперов, которые получили приказ взорвать мост после того, как последние машины отступающих колонн перейдут его. Сидя в автомашине, с бешеной скоростью мчавшейся к границе, Косма немного успокоился.

Тем временем Модорча, запутавшись в бесчисленных комнатах и коридорах префектуры, наткнулся на дрожащего от страха Патриция Мынекутзу...

Октавиан полагал, что гитлеровцы захотят взорвать мост. Чтобы предотвратить его уничтожение, он направился к нему с небольшой группой патриотов. В несколь-

них сотнях метров от моста группа остановилась и стала прислушиваться к тишине, стараясь уловить движение в зоне моста, но оставленные здесь два гитлеровских солдата бросили все и бежали. Один из членов группы шепнул Октавиану:

— Эта тропинка спускается под мост. По ней можно незаметно подобраться к мосту.

— А не рискованно ли это?

— До моста сотни полторы метров, и вы в любой момент можете прийти на помощь.

— Хорошо,— согласился Октавиан.

— Кто пойдет?

— Я пойду,— сказал тот же товарищ.

— Хорошо, но будь осторожен: сейчас гитлеровцы боятся даже катящегося камушка.

Посланный вперед человек минут через пять вдруг начал громко звать остальных:

— Давайте сюда!

— Какого черта кричишь? — сердито проворчал Октавиан.

Группа двинулась к мосту.

Перегнувшись через перила моста, человек говорил откуда-то сверху:

— Никакой охраны! Наверное, все удрали, услышав выстрелы в городе... Осторожно! Мост заминирован!

Патриоты перерезали провода, связывающие взрывчатку с подрывной машинкой, и залегли вдоль высокой насыпи по обе стороны шоссе. У них было всего-навсего два противотанковых ружья, автоматы и около пятнадцати гранат, взятых в комендатуре.

Минут через десять на шоссе со стороны города показались три пары светящихся фар. Они приближались к мосту на большой скорости.

— А вдруг броневики?

— По гулу моторов — простые легковушки.

— Наверное, это штабные машины.

— Пусть подъедут как можно ближе, а то, чего доброго, еще повернут обратно.

— Да куда там поворачивать! В городе опять-таки наши.

— Тогда они махнут через поле.

— Если легковые, то засядут на пашне. Дождь прошел, земля размокла.

Машины приближались, сохраняя между собой небольшую дистанцию. В свете фар последней машины были видны идущие впереди легковые машины с открытым верхом. Октавиан почувствовал, как на лице у него выступили капельки горячего пота.

— Передайте дальше: стрелять по шинам! — приказал он лежащим рядом с ним товарищам.

В следующее мгновение Октавиан крикнул:

— Огонь!

По непонятным причинам в первую машину никто не попал. Шофер резко дал газ — и машина с ревом помчалась по мосту. У двух других оказались перебитыми шины. Машины попытались было двинуться вперед, но в этот момент послышалось шипение выходящего из шин воздуха. Машины перестали слушаться руля и остановились у самого въезда на мост. Сидевшие в них люди бросились бежать вниз по насыпи и залегли в канавах на обочине. Первая машина с потушенными фарами на максимальной скорости продолжала удаляться. Гул ее мотора постепенно стих. Потом послышался тяжелый грохот танков. Сидевшие в засаде у моста поняли, что под нажимом румынских частей с фронта спешно отходят танковые части гитлеровцев. Под ливнем автоматных очередей действующих там патриотических отрядов они на ходу проскочили город.

— Танки! — крикнул кто-то.

— Будем держаться!

Механизированная колонна завернула за первый поворот шоссе и стала приближаться к мосту. На противоположной стороне шоссе кто-то поднялся на насыпь и стал сигнализировать фонарем в направлении колонны. Октавиан дал очередь из автомата, и свет тотчас же исчез.

Танки шли на максимальной скорости. Водитель головного танка, который поздно заметил две ранее подбитые машины, стоявшие посреди шоссе, на полной скорости наскочил на них и, как бульдозер, придвинул их к мосту. Тут танк резко остановился, и в это мгновение одно из противотанковых ружей выстрелило. Танк загорелся, и сноп огня осветил стальные конструкции моста. Затем был подбит второй танк; последний же, резко развернувшись, спустился с шоссе к броду и перебрался через речку. Затем на полной скорости он помчался к границе.

Группа Копэчана полностью решила свою задачу. С автоматами и ручными гранатами она пробилась к военному госпиталю и после короткой стычки ликвидировала немецкую охрану здания. Немцам так и не удалось поджечь госпиталь и деревянный барак во дворе с ранеными румынскими солдатами. Застигнутые врасплох, немцы не успели даже поджечь пропитанные бензином одеяла.

Запертые в подвале, Мирча и Кэтанэ услышали вдруг грохот артиллерии. Бойцы группы Копэчана, ликвидировав охрану госпиталя, вывели их из подвала. Яркий дневной свет резко ударил им в лицо. Глаза обоих наполнились слезами. Обессиленного Кэтанэ немедленно отправили в госпиталь. Доктор Ванчиу оказался более выносливым, но ему все-таки приказали полежать в постели хотя бы один день. Через час с окраины города, с того места, где у железнодорожного моста была устроена засада против немецких колонн, бросившихся к границе, принесли тяжело раненного в живот Октавиана Дамшу. Один из товарищей Дамшу побежал в комнату, где находился Ванчиу:

— Доктор, ты можешь подняться с постели и сделать операцию?

— Конечно, могу.

— Тогда пошли побыстрее, иначе он умрет!

Ванчиу поднялся и пошел в операционную. Рана Дамшу была тяжелая, глубокая, и он был без сознания. Его принесли на носилках прямо в операционную. Быстро разрезали холщовую рубашку и штаны. Операция продолжалась почти три часа.

На главной улице города остановилась колонна артиллерийской части. Вокруг зарядных ящиков под яркими лучами солнца стояли усталые, но улыбающиеся солдаты. Настроение у них было приподнятое. Вокруг толпились люди. Неожиданно на главной улице показалась Мария Давидеску. У каждого, кто попадался ей на пути, она спрашивала:

— Вы не видели Октавиана?

Мария бросилась к госпиталю. Она вбежала в коридор первого этажа в тот момент, когда медсестры выносили из операционного зала покрытые одеялом носилки.

Банчиу снял перчатки и начал мыть руки. Вдруг ему стало дурно. Он оперся о стену и ухватился за раковину. Увидев в нескольких шагах стул, направился к нему, но в тот же момент рухнул на пол.

Мария в поисках Октавиана вошла в операционную. Увидела лежащего на полу доктора. С помощью сестры, которая помогала доктору при операции, подняла его и положила на кушетку.

— Что случилось? — спросила Мария.

— Господин доктор только что вышел из-под ареста и делал кому-то срочную операцию.

— А вы не знаете кому? Не знаете, как его зовут?

— Кажется, Октавиан.

— Где он сейчас?

— Его отвезли в палату.

Мария стала целовать руки Ванчиу. Медсестра отстранила ее:

— Господину доктору необходим отдых. Он очень устал.



О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Часть первая	5
Часть вторая	82
Часть третья	145

Петру Вентилэ

ОКРУЖЕННЫЙ ГОРОД

●
Редактор *П. Л. Павлов*
Литературные редакторы
Т. И. Канпшева, А. С. Поволоцкая
Художественный редактор *Л. А. Константинова*
Художник *Н. А. Абакумов*
Технический редактор *Л. Г. Репкина*
Корректор *Ф. М. Горелик*

●
Сдано в набор 12.4.67 г.
Подписано в печать 6.6.67 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 6¹/₂. (Усл. печ. л. 10,66)
Уч.-изд. л. 10,946. Бумага типографская № 2
Изд. № 10/8913. Цена 47 коп. Зак. 730.

●
Военное издательство
Министерства обороны СССР
Москва, К-160

●
1-я типография
Военного издательства
Министерства обороны СССР
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, 3

Винтилэ П.

В50 **Окруженный город.** Роман. Перевод с румынского Андрианова Б. А. и Карпещенко Е. Д. М., Военное издательство, 1967.

208 с. 65 000 экз. 47 коп.

Автор переносит нас в небольшой город в юго-западной части Румынии. Где-то бушует война, а здесь, на первый взгляд, царят тишина и спокойствие. Но это только кажется. Коммунисты ведут активную борьбу против захватчиков, готовят народ к решительной схватке. Ни доносы провокаторов, ни аресты, ни тюрьмы, ни пытки — ничто не может сломить их.

В городе вспыхивает вооруженное восстание против гитлеровцев. Отряды вооруженных рабочих под руководством коммунистов отражают натиск гитлеровских войск до подхода румынских частей и наступающей Советской Армии.

7-3-4
244-67

И (Рум.)